



Владимир Орлов

Лягушки

ФТМ



Владимир Орлов

Лягушки

«ФТМ»

2011

Орлов В. В.

Лягушки / В. В. Орлов — «ФТМ», 2011

«Лягушки» – новый роман классика современной литературы Владимира Орлова, в котором автор со свойственным ему тонким психологизмом через сатиру показал реалии нашей жизни.

© Орлов В. В., 2011

© ФТМ, 2011

Содержание

1	5
2	12
3	19
4	24
5	29
6	36
7	43
8	45
9	51
10	59
11	64
12	72
13	80
14	86
15	93
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Владимир Орлов

Лягушки

1

У Ковригина кончилось пиво. Надо было идти в палатку.

Палатка торговала вблизи автобусных остановок на обочине асфальтового пролета, ведущего со станции Столбовая мимо сумасшедших домов в селе Троицком, известных в России как «Белые столбы», к поселку Добрыниха. Прежде Ковригин легким шагом добирался до палатки минут за восемь-десять, нынче ноги побаливали, и на дорогу за колбасами, свиной шейкой, макаронами, рисом, сахаром-песком, кильками в томате и пивом уходило у него все пятнадцать минут. И это – туда, порожняком. Увы, увы...

Сегодня же странное обстоятельство вынудило его провести в путешествии к палатке полчаса с лишним.

Впрочем, странным это обстоятельство могло показаться лишь для Ковригина и для людей, сходных с ним натурой, несведущим и неразумным. Для людей же, знакомых с естественными науками, с портретом Дарвина на школьной стене, с сачками и гербариями, в юные годы посчитавших себя натуралистами, ныне – «зелеными», никакой странности не случилось.

Шел дождь, оставлявший пузыри в лужах. Ковригин натянул резиновые сапоги. Почти все лето они стояли без дела. Солнце позволяло Ковригину шляться в кроссовках, сандалиях, а то и босиком. Но неделю назад небесные влаги стали изливаться из серо-синеватых облаков, не давая ни себе, ни сухопутным существам продыху.

Хотя физиологические потребности звали Ковригина в незамедлительный поход, будто сегодня же по исторической нужде требовалось взять Азов, из дома выйти он никак не мог. Что-то останавливало и беспокоило его. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты... Зудело в нем это отчаянным стрекотом в траве сентябрьского кузнеца. «Что надеть-то?...» – не спеша сообщал Ковригин. Хотя знал, что надеть. Зонтов он в доме не имел. Его коронным номером было терять зонты и перчатки. Перчатки обязательно с одной руки. А потому в московской квартире среди барахла у него валялось с десяток кожаных изделий с леворастопыренными пальцами. Зонты же он оставлял где-нибудь дней через пять после их приобретения. То есть в персонажи «мокрых» ксилографий Хиросиге с видами Киото и Эдо он не годился. И сейчас он знал, что наденет куртку с капюшоном. И вот будто бы в чем-то сомневался. Придурь некая будто бы наехала на него. «А работает ли палатка? Сентябрь ведь, школьники уехали... Вдруг торгоши засачковали?...»

Именно придурь. При нынешних-то коммерческих интересах хозяев вряд ли бы они закрыли палатку. Да хоть бы и закрыли. Увидев это, Ковригин вскочил бы в первый подъехавший автобус и отправился бы за пивом на станцию Столбовую или в Троицкое. Там процветали теперь свои «Алые паруса» и свои «Перекрестки». Что же он оттягивал поход? Что кочевряжился? Из-за предчувствия. Ну если и не из-за предчувствия, то из-за малопонятных беспокойств и ощущений тоски.

И все же он запер дом и калитку. И пошел.

Треть дороги проходила по въездной улице огородно-садоводческого товарищества. Самосвалами на нее были сброшены кузова щебенки, пока необглаженной погодой и ногами и не вмятой в землю. В сухие дни тут бранились пенсионеры, награжденные подагрой, а собаки, пусть и самые скандальные, старались сюда не забежать, берегли лапы. В мокрый же день передвигаться к воротам поселка Ковригину было комфортно, он не спе-

шил, продавщица Люся, если, конечно, она приехала из Чехова со своей виллы, закрыла бы палатку лишь через полтора часа. Да и Люсе можно было бы достучаться и в закрытую дверь. Обаянием и наглостью балаболов из мастеровых и водителей, способных продавщицу и облапить, Ковригин не обладал, но и рохлей не был, умел вызывать симпатии у obsługi.

Все эти пустяковые подробности путешествия Ковригина я привожу здесь по той причине, что несколькими часами позже Ковригин примется вспоминать все пройденные им сантиметры и эту щебенку возле поселковых ворот и водокачки в рассуждении, а не тогда ли все и началось? Нет, не тогда.

За металлическими воротами поселка, на створках которых раскачивались ребятишки, не доросшие до угнетающих семейные бюджеты занятий в школах и лицеях и вынужденные мокнуть в сентябре в компаниях бабушек и их соседок, шла опять же заваленная щебенкой, здесь – вмятой колесами во вспаханное поле, «трасса» с выездом на шоссе далеко к востоку от палатки. И тут, как посчитал позже Ковригин, еще не началось.

Соседом поселка Ковригина был огородно-садоводческий же поселок Госплана. Где теперь этот Госплан? «А вот мы и есть Госплан!» – с обидой на исторические оплошности утверждали основатели и старожилы поселка. С обидой, но и с торжеством утверждали. А через шоссе, по ту сторону палатки, растило свои кабачки и огурцы товарищество Пролетарского района. Района такого в Москве давно не было. А здесь Пролетарский район был.

По тропке, в километр длиной, огибающей заборы Госплана, и предстояло идти Ковригину. Невдалеке, за березовыми грибными рощами у Любучан с его пластмассами, года четыре назад был поставлен беленько-синенький завод «Данона», и всем здешним полям определили растить корма для даноново-рогатой скотины, для их высочества вымени. Что только не зеленело перед заборами Госплана и Пролетарского района: и кукуруза, копившая в себе молочную спелость, и овсы, и рожь, а в ней – естественно, синели и васильки, внимали небесному пению переживших нитраты жаворонков. Недавно травы со всякими виками и тимopheевками скосили и содрали с земли кожу «под пары». Местные трактористы недолюбливали бездельников дачников и каждый раз перепахивали тропку к автобусам и харчам, оставляя вместо нее особо крупные, вздыбленные ломти глины. И снова садоводы со смиренными ругательствами протаптывали привычную дорогу на Большую землю. Ныне тропа, шириной в двадцать-тридцать сантиметров, была вытоптана еще плохо, и ход путника по ней затрудняли то колдобины, то так и не размятые куски глины без дерна. Ковригину же казалось, что тропинка полита растопленным мылом, причем не самым ароматным.

Впрочем, Ковригину скользить по дороге в палатку приходилось не впервой (были случаи, он падал, возвращался на дачу с измазанными штанами, но с полными сумками). И теперь он мог позволить себе не смотреть под ноги.

А смотрел он в дали. В детстве каждое лето он подолгу гостил у родственников в Яхроме, там же и на станции «Турист» пионерствовал в лагерях. Позже в разъездах по стране и в землях чужих подтвердилось его пристрастие к просторам и приволью. Даже в Яхроме, от Андреевской церкви Кампорези на «горе» (высоте, говорилось во фронтовых мемуарах), были видны другие высоты Клино-Дмитровской гряды, долина (бывшая – реки Яхромы) нынче – канала, с белыми пароходами вдаль и рядом, внизу, у шлюза, и город Дмитров, миривший князей восемьсот лет назад. При этих видах в душе отрока Ковригина возникали восторги, упоение земными далями и тайнами, упоение и собственным пребыванием в диве дивном и в мироздании вообще. Взрослый Ковригин называл эти состояния пафосными, радостными повизгиваниями щенка, марши при этих повизгиваниях следовало бы исполнять. Скажем, марш Фанагорийского полка. Просто созревал в отроке мужчина, отсюда и все его томления, да еще и при виде привольий. Впрочем, мысли взрослого Ковригина сейчас же и слоились... Вот когда он восьмиклассником в сумерках стоял один у дома тетки на вершине Красной горы, напротив горы Андреевской, а на той стороне канала на стадионной

танцплощадке звучала музыка, помимо роков и твистов все эти «Мне бесконечно жаль...», «Я возвращаю вам портрет...», вот тогда и случались с ним эротические томления (или смущения?), в них были и тоска, и сладость, и предчувствие любви и её мерзостей, конечно, и фантазии возникали, известно какие... Но и тут для всего будто бы необходим был простор...

Подольские или лопасненские землеустроители отвели поселку Ковригиных место возле упомянутых уже пашен, сползавшее от них густым березняком с сосенками и дубками к угрюмому оврагу. Здесь вполне могли резвиться кикиморы, а лешему ничего не стоило с играми и со страшными голосами уводить Мизгиря, одуревшего от любви, в сущности, к сосульке, в погибельные дебри. И овраг, пусть и при светлых дубах на южном берегу, кривясь боками, полз от деревни Леонихи к Троицкому мрачный и неприветливо-дурной. Возможно, когда-то здесь текла речка притоком к обмелевшей нынче Рожайке. В Троицком триста лет назад на всхолмленности над оврагом была поставлена каменная церковь (Ковригин зарисовывал ее наличники с элементами нарышкинского барокко), заменившая церковь деревянную. По предположениям Ковригина, Троицкому было не менее семи веков, и изначальную церковь села воздвигали именно над рекой. Потерявший воду и, главное, живое течение её, овраг и приобрел дурной нрав.

Ко всему прочему родители Ковригина по жребию получили затененный участок с невырубленными березами, а с запада к общему забору подступала еще и теснота сосновых посадок, в которых в шесть вечера утонуло солнце. Поначалу Ковригин участок невзлюбил. Замкнутое пространство, сырое весной и осенью, вершинами берез, а потом – и яблонь, слив, вишен и не способных угостить своими плодами груш отделявшее себя от неба, угнетало Ковригина. Но потом он привык к участку стариков. К тому же здесь он работал. Отдохнуть можно было и на море. Милы ему стали и леса вокруг – до поры до времени грибные, «лопасненский ареал белых». Потом Ковригин по иному взглянул и на унылые для него поначалу плоскости ближайших полей. Потихоньку открылись для него увалы пашен, уходящие далеко к северу, к темно-плотным всхолмьям, возможно, хвойных лесов, извилины ивняка, вцепившегося во влажные берега Рожайки, петлявшей мимо села Мещерского в сторону старшей сестрицы Пахры. Даже холодно-серебристые башни электропередач здешним видам не мешали. Хотя, пожалуй, и мешали. А с асфальта шоссе Ковригин без раздражения рассматривал цветные и неближние строения села Мещерского, куда, как писали, заезжал переписчиком населения Лев Николаевич Толстой. И движение автомобилей самых разнообразных форм и окрасок в солнечные дни занимало созерцателя Ковригина, из неспешных букашек на повороте в Троицкое они превращались вблизи него в ревуших монстров...

Вот и в тот памятный для него день, пройдя без падений метров десять по глине с мылом, Ковригин остановился, пожелав рассмотреть здешние дали в пасмурный день. В студенческие годы он проживал романтиком, со всеми этими: «Пусть дождь и ветер...», «Кипит наша алая кровь...». Ну, и так далее. Прежний Ковригин куртку бы распахнул: нате, штормите, с ног сбивайте, нам только в радость! Нынешний же Ковригин натянул капюшон на лоб. И смотреть было не на что. Дальше дорожной насыпи ничего не было. Никакой Рожайки, никаких строений Мещерского, ни поворота на Троицкое. Никаких темных уступов северных лесов. Машины по шоссе ездили и были очевидны. И все.

Вот тут-то и пришлось Ковригину взглянуть под ноги.

Поначалу Ковригин услышал какие-то глубинные вздохи и стоны, глубинный же, подземный гул, а потом и будто бы идущий со всех сторон металлический скрежет. Металлические скрежеты здесь на памяти Ковригина случались. Однажды откуда-то из лесов на асфальты выкатывались колонны бронетранспортеров с угадываемым намерением ползти на Москву, угощавшую страну танцами лебедей. Сентиментальная музыка в Ковригине сейчас не возникала, звуки он слышал отчаянно-скребущие, трагические, иногда мрачный хор напоминал песнопение о Фортуне из «Кармины бурана» и бережил Ковригину душу.

Ковригин остановился.

Нет. Чушь. Никакие стоны, никакие скрежеты, никакие вызывающие трепет песнопения из «Кармины бураны» здешнюю местность не тревожили и не заполняли её тоской. Даже автомобили проносились по шоссе беззвучные. Ну, вода капала с неба, ну, ветер заставлял скрипеть верхушки берез. Однако ничего особенного в этом не было.

Особенное (возможно, лишь для него) происходило под ногами Ковригина. Поначалу Ковригину показалось, что он стоит на желтой (с зеленцой и серостью) ленте транспортера, и она передвигает его к палатке. Тут же он понял, что допустил в мыслях глупость. Движение под его ногами действительно происходило, и именно в сторону шоссе. Но движение совершалось не глиняным транспортером, а, надо полагать, сотней (или сотнями) мелких невзрачных существ. Это были лягушки. Лягушки передвигались прыжками (иногда застывали, возможно, отдыхали, у иных из них силы, видимо, были на пределе) исключительно по тропинке, а если попадали в траву (слева) либо в глиняные торосы, оставленные трактористом (справа), сейчас же с упрямством или даже отчаянием старались вернуться на тропинку, будто именно там находилась единственная определенная кем-то, помеченная или даже вымолено-узаконенная высшими лягушачьими существами дорога. При внимательном разгляде Ковригин открыл для себя: земноводные были под ним разнообразных размеров и свойств. И именно мелко-невзрачные, будто только что получили аттестаты в лицах головастика, и взрослые квакуши с сигаретную коробку, и высокомерные жабы со множеством выпестованных бородавок и мозолей. Причем, никакого рангового порядка в их дорожном расположении не было. «Никакой субординации, никакой иерархии...» – пришло в голову Ковригину. Никто никого не обгонял, никто ни кому не уступал места, понятно, те, что послабее или устали до немочи, отставали сами, никто их с тропинки не выталкивал, никто как будто бы, по понятиям или привычкам Ковригина, не требовал: «Уступи лыжню!». Перемещение осуществлялось как бы попеременно особей с разными силами и значениями. Стало быть, оно вышло экстренным, не исключено, что и паническим. Так представлялось Ковригину. Но, может, он и ошибался.

Наверняка каждый из путешественников имел свою «физиономию» и свои оттенки окраски. Но чтобы понять это, надо было опуститься на корточки и с лупой у глаз рассматривать движение неизвестно куда. Или в какое-то особенное, спасительно-блаженное место. Но Ковригин в исследователи нынче не годился. Главное для него было сейчас не раздавить ни одну из мокрых особей. Вполне возможно, при первых шагах по тропинке он кого-то и передавил, тогда и услышал стоны, скрежет и подземные гулы. Разумно было бы остановиться и переждать переселение народов. Но тогда он бы вымок до необходимости принимать не пиво, а водку, а делать это он сегодня не намеревался, пиво же во время его вежливого переживания могло и кончиться. А главное, шествие лягушек по тропе никак не утихало и не убывало, напротив, теснота здесь вот-вот должна была превратиться в давку. «Кто они? Куда их гонит? – естественно, пришло в голову Ковригину. – На митинг? На демонстрацию?».

В тесноте скачущих существ все же случались зазоры и временно пустые места, куда Ковригину удавалось опускаться, обходясь без жертв, резиновые сапоги. Он приспособился к ритму и темпу прыжков нескольких путешественников (или путешественниц) и как бы в согласии с ними совершал шаги. Конечно, терял время. Но никого не обидел.

Так они добрались до шоссе-насыпи у заборов Госплана. Насыпь проходила здесь над бетонной дренажной трубой, и вход на нее с тропинки был одолением крутизны. И в сухие дни люди постарше делали крюк, чтобы выйти на шоссе, да и спускаться с обрыва с двумя загруженными сумками в руках выходило делом рискованным. Ковригин некогда дурью маялся, лазал по скалам, имел разряд, и по привычке взбирался на обрыв шагами «елочкой», вминая в землю ребра кроссовок. Сегодня и при своих умениях он раза три сползал к пашне. Бранился и на несколько секунд забыл о лягушках. Лягушки сами заставили

вспомнить о себе. Они рвались к асфальту рядом с ним. Кто прыжками, кто усилиями будто прилипшего к земле тела, цепляясь за комья передними лапами и стараясь произвести толчок лапами задними. Ковригин застыл минуты на две, находясь в созерцании. За эти две минуты почти вертикальный склон одолели лишь четыре особи, да и те не сразу, а скатываясь то и дело к подножию насыпи и заставляя себя продолжить подъем. Чувство жалости и чувство собственной беспомощности испытал Ковригин. Лягушки не были на Земле одними из самых симпатичных для Ковригина тварей. Впрочем, они его и не раздражали. Ну, прыгали себе и прыгали. В начале лета, правда, в хоровых действиях противно квакали. Теперь же они вызвали сострадание Ковригина и желание помочь им. Но как им можно было помочь? Ведрями, что ли, переносить их по глиняной дороге? И куда?.. А у подъема на насыпь уже возникало лягушачье столпотворение. Лента же транспортера (или конвейера?) волокла и волокла на себе существа, совершающие Исход. Так опять стало казаться Ковригину.

«А-а-а! Я здесь чужой и бессмысленно лишний! – подумал Ковригин. – Это их дело! Они знали, куда и зачем двинулись!»

И он вылез на травянистый окаем шоссе.

И сразу же увидел на мокром асфальте десятки лягушачьих трупов, раздавленных автомобилями. Иные из них были будто вмяты в серое покрытие дороги, другие валялись, раскинув искалеченные лапы. Эти-то погибли, а сколько-то их, надо полагать, перебрались через шоссе и поперли куда-то по новой глиняной тропе пообочь Пролетарского района. Но куда? Вниз? К петляющей километрах в двух севернее речке Рожайке?

А от забора Госплана уже выкарабкивались на насыпь новые упрямы из земноводных, а по шоссе все неслись и неслись приспособления на колесах, облегчающие жизнь млекопитающим при двух ногах и бумажниках с правами, и эти выкарабкавшиеся странники могли сейчас же превратиться в существ жертвенных.

И тогда Ковригин повел себя совершеннейшим чудиком, о чем потом вспоминал (и случалось, рассказывал) со смехом, а порой – со смущением.

Первым делом он заявил карабкавшимся на насыпь: «Куда вы прете! Вас же раздавят! Дождитесь хоть ночи!». Потом, будто и не обращая внимания на летящие автомобили, он принялся собирать еще живые существа, среди прочих и те, что только что выползли на асфальт, и швырять их в безопасность к Пролетарскому забору. И потом он встал посреди шоссе, растопырив руки и выкрикивая нечто экологическое, что именно, вспомнить позже не мог. Автомобили останавливались, Ковригин указывал на лягушачье шествие и просил живое не губить. Один из водителей, следовавший со стороны Добрынихи, вылез из своего «рено», лягушкам удивился, матом выразил свои восторги, закурил и, пока курил, Ковригина поддерживал, будто с намерением устроить сейчас же дорожный пикет. Грудь его украшали значки с физиономиями Анпилова и Ксении Собчак, этой – в шлеме танкиста. Другие же водилы, уразумев суть происшествия, крутили пальцами у висков и тут же продолжали путь, ещё и давя при этом лягушек, явно назло Ковригину. А один из лихачей, у кого на крыше «ауди» теснились готовые к зиме горные лыжи, заорал радостно: «Это же сумасшедший! Он удрал из дурдома!». Почитатель Анпилова и танкистки сразу же нырнул в свое «рено» и был таков. «А ведь и впрямь примут за сбежавшего из дурдома!» – подумал Ковригин. Все же по сотовому он связался со службой спасения. А когда в ответ на сообщенный им адрес вызова: «Это у Троицкого, там, где больница „Белые столбы“, услышал опять же радостное: „Ага, поняли, сейчас приедем за вами“» – сообразил, что действительно приедут за ним, упакут и доставят в Троицкое.

«Э нет! – сказал себе Ковригин. – Надо бежать в палатку и за пивом! С пивом-то, да ещё и с третьей „Балтикой“ сумасшедшим не посчитают!»

Напоследок Ковригин наклонился над асфальтом и поднял большую лягушку, явно не раздавленную, но замершую, будто испустившую дух. Зачем, и сам не знал. Может, в дви-

жении этом был вызов, мол, считайте меня очумевшим, если вам так удобно, если диагнозом упрощения легче объяснить всяческие странности. Лягушка была жива, сердце билось в ней, она притворялась, словно простодушное притворство могло уберечь её от автомобильных шин. Или она замерла, устранившись нелепого человека с продовольственной сумкой в руке? Ковригин не швырнул её вниз к Пролетарской тропинке, а осторожно опустил в зеленую по летнему траву. Там машины не должны были бы проезжать. «Лягушка как лягушка, – подумал при этом Ковригин. – Лягушачьего цвета. И не тощая. Но что-то было в ее глазах, когда она открыла их. Что-то удивительное. И ужасное...»

Банок с третьей «Балтикой» в палатке не оказалось. А Ковригин покупал именно банки, их больше влезало в сумки или в рюкзак. Пришлось брать «Старый мельник» и «Ярпиво». Продащица Люся, муж её владел ещё тремя бойкими точками в районе, имевшая прозвище Белый налив, сегодня же преображенная в Рыжий налив, с румянами на щеках, дама лет сорока, пышная, а ещё и утолщившая себя махеровой кофтой, ждала любезностей от Ковригина. Покупателей было мало, и всякие любезности для Люси были хороши, она, похоже, могла бы позволить Ковригину похлопать её и по заднице. А Ковригин, прежде любезный, взял и занудил Люсю испуганно-удивленным разговором о происшествии с лягушками. Спас Ковригина здешний печник и архитектор каминов Ефремыч, тот с наглыми словами быстро добрался до Люсиных ягодиц, правда, получив литровую бутылку «Черноголовки» тут же и испарился. У Люси же рассказ Ковригина вызвал лишь фырканье, желание вымыть руки после этих жаб и немедленное оперативное решение: всучить Ковригину банку кальмара в собственном соку. «Раз уж вы так любите лягушек! – заявила Люся. – А кальмар, небось, их родственник. И у него, учтите, – голубая кровь. Я по телевизору слышала. В нем много меди, и потому у него кровь – голубая». Вместе с пивом, батонном сервилата, тортом «Причуда», курицей, хлебом Ковригину пришлось упаковывать в сумку и пакет две банки с голубой кровью. «А-а-а!» – подумал Ковригин и добавил к приобретениям бутылку питерского «Кузьмича».

Единственным, кто отозвался в палатке на слова о лягушках, был сосед Ковригина по товариществу Кардиганов-Амазонкин, пенсионер. Он, видимо, добирался в Сады из Москвы и по привычке зашел в палатку. Пребывал он в сапогах, крылатой плащ-палатке и в вечной соломенной шляпе. Но особенной, не беспечно-отпускной, а увлажненной потами шляпе чумака, развозившего по степным трактам мешки с солью. Если вникать в рассказы Кардиганова-Амазонкина, он участвовал и в обороне Царицына. Был он мужчина тонкоствольный, подвижный и с принципами. Стаж он зарабатывал непременно начальником, то ли автобазы, то ли склада типографской бумаги. Теперь он разводил цветы, имел в хозяйстве кур и кроликов и слыл беспощадным полемистом. К Ковригину он иногда заглядывал с шахматной доской (а жил через улицу, наискосок), но Ковригин, ссылаясь на занятость и на включенный компьютер, его предложения отклонял.

– С лягушками и для мопсы вшивой нет загадок, – заявил Кардиганов-Амазонкин. – Трахаться поперли. Приспичило – и поперли. Не в наших же болотах этим заниматься.

– Это осенью-то? – выразил сомнение Ковригин. – Они вроде бы по весне... Да и процесс у них тихий... Мечут икру и всё...

– Тихий! – засмеялся Кардиганов-Амазонкин. – Да у них похлеще носорогов это получается. Как же без траханья-то! Ты-то, небось, одной икрой не обходишься!

– Икра, она, – не от мужиков... – захихикала Люся.

– Это раньше у них одно траханье было в году! – сказал Кардиганов-Амазонкин. – А теперь распоясались! Теперь когда хотят! Свободы! Ни стыда, ни совести! Пуси-муси. Секс-меню. Или их провокатор какой, типа сектант, заманивает дудочкой. Сейчас пойду домой и всех их передавлю.

И Кардиганов-Амазонкин с комбикормами для кроликов в рюкзаке (об этом было объявлено Люсе) отправился к двери.

– А медуз среди них не было? – спросил он, уже ступая в дождь.

– Нет, – пробормотал Ковригин. – Вроде бы не было...

Ему бы выскочить вслед за Кардигановым и не допустить безобразия. А он не выскочил. Взял банку «Ярпива» и принялся потихоньку попивать успокоительный напиток. «Не передавит, – думал Ковригин, – не идиот же он. Да и куда спешить, наверняка движение прекратилось. А если не прекратилось, то тем более спешить не следует, чтоб самому заблудшим тварям не навредить... Но с чего вдруг в голову ему пришли медузы?..»

2

Но и через полчаса, закончив светские разговоры с продавщицей Люсей, Белым или Рыжим наливом, неважно каким, но несомненно – Наливом, Ковригин был вынужден убедиться в том, что лягушки не угомонились.

Ползли себе и ползли, скакали, карабкались, и ничто, видимо, не могло их остановить. На тропе и возле неё Ковригин обнаружил следы и факты приведения в исполнение драматических угроз полемиста с пусямимусями Кардиганова-Амазонкина.

Возмущенный Ковригин положил: сейчас же дома он соорудит фанерный транспарант со словами «Осторожно: лягушки!», и даже попытается зеленым фломастером изобразить на фанере тельца хрупких тварей лапками вверх, и с этим транспарантом вернется на шоссе. Единственно засомневался: почему именно зеленым фломастером? Разве они зеленые?

Но никакого транспаранта Ковригин не смастерил. И на шоссе не вернулся.

Он почувствовал себя голодным и усталым (ещё ведь и понервничал в дороге). Разогрел макароны, тушеную (с морковью, луком, чесноком, а по семейной привычке, – и со свежими листьями крапивы) свинину, обставил себя банками с пивом, засунул в морозилку бутылъ «Кузьмича», вынул из морозилки же сосуд с «Гжелкой», не забыл и отварные, с солью, способные хрустеть здешние подгруды – подореховки и чернушки. Подмывало его пустить в ход и всученные ему Люсей кальмары, но их надо было еще готовить, да и корректно ли было вкушать кальмары в столь напряженный, а может, и печальный для лягушек день? «Да причем тут кальмары и лягушки! – чуть ли не выругался Ковригин. – Мало ли какую чушь могла нагородить просвещенная „Миром животных“ Люся!».

На всякий случай он заглянул в Энциклопедический словарь, ещё «Советский», 1980 года выпуска. Словарь он держал на даче исключительно ради кроссвордов. Кроссворды надобились ему для утренних восстановлений словарного запаса, а порой и для простых успокоительных отвлечений. Составители же кроссвордов могли вынуть из компьютера фамилию какого-нибудь основателя правового нормативизма, и Ковригин лез в словарь и находил в нем австрияка Ханса Кельзена. Натеперь! Впрочем, словарь был скупой, в нем, скажем, о толстоноге сообщалось, что это то же, что келерия. И всё. Нынче Ковригин посчитал необходимым прочитать о лягушках. И вот что он прочитал на 715-й странице. Лягушки (настоящие), стало быть, бывают и не настоящие, эти – какие же? ну ладно, настоящие, – семейство бесхвостых земноводных. 400 видов. Бывают (голиафы, быки) до 25 см, этих едят. А вообще они классич. лабораторные ж-вые. Так... Ковригин нашел страницу с земноводными. Они, значит, относились к классу позвоночных, кожу имели голую, богатую железами. Имели сердца и легкие, все как полагается (это только головастики дышали у них жабрами и умели до поры до времени к чему-либо прилипнуть). А главное – они были первыми позвоночными, перешедшими от водного к водно-земному образу жизни.

Это обстоятельство отчего-то обрадовало Ковригина.

Прочитал Ковригин статью (в восемь строк) и о жабах. О съедобности их или несъедобности указаний не было. Сообщалось об их сумеречном образе жизни. То есть промывали они, видимо, по ночам. Ковригину сейчас же пришли мысли о сумеречности натур жаб, о мрачных их нравах.

«А-а-а! Это всё их дела! – подумал Ковригин. – Они сами разберутся во всём. И энергетика у них похлеще моей! Перли, как танковая дивизия! Первыми в земноводный образ перешли!»

Он сейчас же представил себе, как он мок на глиняной тропе и на шоссе, и как он, будучи, надо полагать, истинным московским интеллигентом, виноватым перед всеми и перед всем, нравственно страдал, а они все перли и перли, их не заботили земные мокроты,

а на него, Ковригина, в их бесстыжести им было вообще наплевать, и он пожалел себя. Набрал полный стакан «Гжелки», помнил и о «Кузьмиче» от Рогожкина и генерала Иволгина, «Кузьмич» потихоньку добирал свое в морозилке. (Наутро Ковригин, а дождь перестал и солнце воссияло, прошелся до шоссе, вышло, что снова и до палатки, и никаких лягушек, ни живых, ни придавленных, ни полемически уничтоженных суровым правдолюбом Кардигановым-Амазонкиным, не обнаружил. Изошли. Возможно, дошли и до места. Погибших уволокли с собой... Но это было утром.) Теперь же Ковригин сидел в тепле (протопил печку, вытащил головешки), смотрел на последние равномерно мерцающие угли, мирно взглядывал на пустые перебежки игроков «Спартак» и «Зенита», и даже пафосные комментарии с цитатами из корейской поэзии какого-то Кваквадзе его не раздражали. «Надо же какой фамилией наградила его судьба!» – умилялся Ковригин. Пил прекрасные для него сейчас жидкости, подносил вилкой ко рту соленые подгрудки и готов был послать (куда, откуда, неважно) умильную же телеграмму Кваквадзе. Лишь слово «триколор», ни с того ни с сего произнесенное в эфире, покорило Ковригина. До него дошло, что в телеграмму придется вставлять соображения вопрошающе-вразумительные. Позвольте, уважаемый Кваквадзе, если у нас «триколор» (хорошо хоть не «трико»), то жевто-блакитный флаг с майдана (то бишь – базара) следует именовать «двуколором», а уж китайское полотнище и вовсе – «одноколором»...

И тут Ковригина сморило.

Часа четыре Ковригин дрых без задних ног. Потом Ковригин проснулся, промокнул горло, и уже до утра пребывал в дремотном состоянии.

В дремотном же состоянии посещают видения, оправданные ходом и смыслом бытия и неоправданные.

Совершенно неоправданными вышли для Ковригина разговоры с наглецом Кардигановым-Амазонкиным. В свой дом Амазонкина Ковригин вроде бы не пустил. Амазонкин, а небо как будто бы ещё не почернело, и птички не уснули в саду, тряс перед стеклом террасной двери шахматной доской, и Ковригин предъявил ему кукиш, на что Амазонкин, рассерженный, принялся показывать язык и изображать нечто, подпрыгивая и по-чуждому растопыривая ноги, при этом тыкал пальцем в сторону Ковригина: мол, ты теперь не Ковригин, а Лягушкин.

Но сгинули Кардиганов-Амазонкин и его клетчатая доска.

И может, и не в дремотных видениях возникал Амазонкин, а являлся к Ковригину в своём натуральном тоскующем виде.

В дремотных же видениях перед Ковригиным стояли, скакали, двигались куда-то тысячи, миллионы бесхвостых позвоночных, первыми позволивших себе (в угоду развития мироустройства) перейти к водно-земному образу жизни. И прежде подобное (и не раз) случилось с Ковригиным. После удачных хождений по грибы, стоило ему под одеялом смежить веки (красиво-то как!), и тысячи белых, подосиновиков, лисичек в своем разноцветье выстраивались вокруг Ковригина, и он тут же, забывая о гудящих ногах, смиренно и тихо засыпал.

И ведь сморило хорошо, и ноги не гудели, и профилактические средства, не позволившие завестись в промокшем соплях и чиху, сняли тревоги, а все равно в голову лезла всякая чушь. Неспроста, небось, хитроумный Амазонкин спросил о медузах. Теперь Ковригин был уверен в том, что в общем ковыляющем массиве (месиве?) передвигались и медузы. Ковригин даже крапивные ожоги ощутил на ладонях. Насчет кальмаров, особенно в собственном соку, уверенности у него не было, а вот медуз точно куда-то гнало. А уж тритоны, какие водились и в здешних лесных бочажках (однажды наблюдал), непременно обязаны были участвовать в мокром походе. Тут мысль Ковригина совершила ещё один загиб. Русалочка была дочкой тритона, пусть и копенгагенского. Стало быть, и русалочки...

Мысль об этом никак не удивила Ковригина. А почему бы и нет? Не русалочку ли он оживлял и бережно укладывал в безопасность травы? Не она ли крапивно обжигала его ладони? Сейчас же Ковригину привидилось личико русалочки. Оно, естественно, было печальное, заколдованное и отчего-то знакомое... Она еще явится, русалочка! Явится! Впрочем, и ещё кого-то из земноводных, бесхвостых подло заколдовывали какие-то сволочи. Ба! Но русалочка-то не входила в семейство бесхвостых... Ну и что? Ну и что?

«Фу ты! Бредятина какая-то! – сумел все же оценить зигзаги своих соображений Ковригин. – Чушь какая! Бред какой!»

Понятно, что в солнечный уже сад Ковригин вышел очумевшим. С неба не капало. Да и не из чего было капать. И утреннее разведывательное путешествие к шоссе, а потом и вынужденное – в палатку, облегчения ему не принесло. Реальность вчерашних наблюдений не отменилась. Продавщица Люся (и нынче – Рыжий налив) тоже слышала о дурачествах лягушек от разных людей, в частности – и от водил. Видя немощность Ковригина, в любезности его не вовлекала.

Дома рука Ковригина потянулась к морозилке. Нет, «Кузьмича» по утру Ковригин приказал себе не трогать. В целебные средства был определен «Старый мельник».

Конечно, проще всего было взять сотовый и набрать номер Стасика Владимирского. В третьем классе Стасик был снайпером по пальбе из рогатки. Голубей щадил по причине их убогости. Особенно же от него страдали воробьи и мухи – косил под китайцев. Теперь Стасик – биолог, доктор наук, знает всё про летающих, ползающих, испускающих дурные запахи тварях, о гадах и паразитах, хотя бы и мучных червях. Выслушав недоумения Ковригина, он, удивившись безмозглости темного человека, произнес бы часовую лекцию, и Ковригину стало бы скучно.

Ковригин относил себя к агностикам. В шутку, конечно. Но ни в коем случае не к атеистам. Упаси Боже!

Не втемяшивал себя безоговорочно в сообщество агностиков (да и какое у них сообщество; ну, скажем, – конгломерат одинаково мыслящих или одинаково упертых). Цепями звенящими будто бы признанных умственных заслуг к ним себя не приковывал. А именно относил. Сегодня отнес. Завтра перенес. Агностики же полагают, что науки способны лишь изучать явления, познать же сущности и закономерности явлений им неведомы. Да и ни к чему эти познания. А потому и оценочные суждения Ковригина нередко выходили воздушно-лохматыми. Он называл их домоткаными. В них были просторы для фантазий его интеллектуального марева и игры вариаций. Но получалось, что его вольная эссеистика была интересна немалому числу читателей. Причем в своих исторических построениях (даже и с допуском иронической мистики) или гипотезах Ковригин никогда не позволял себе (и в увлечении – «эко занесло») впадать в безответственные авантюры на манер «новых хронологов» или экстреннокоммерческих толкователей катренов Нострадамуса. Всегда опирался на точные факты и судьбы, порой хорошо известные публике.

«Главное – не быть классификатором», – убеждал себя Ковригин. Классификаторы в гуманитарных дисциплинах раздражали его. Помещение личностей, их творений, способов и драм их жизней в какие-либо клетки, временные ли, жанровые, стилевые (упаковка Моне, например, в тару импрессионизма или Врубеля в смальтовые уголки северного модерна и т. д.), вызывали у Ковригина цветение ушей. Да и какой из Ковригина мог получиться классификатор, если он заканчивал безалаберный факультет журналистики! Какие только птенцы не разлетались из гнезда на Моховой! Однокурсник Ковригина, подававший надежды фельетонист, нынче владелец бани в Краснотурьинске. Другой однокашник прокурорит под Курганом. С Моховыми дипломами существовали и кинорежиссеры, и послы, и натёрщики полов, и карточные шулера, и актеры с актрисами, и вышивальщицы по канве, и вязальщицы детективов, а с ними и штопальщицы подстрочников, и воспеватели на ТВ шести соток, и пере-

носчики микробов. Да кто только не стал вблизи взятого в трубу устья реки Неглинной человеком!

Стал ли Ковригин человеком (кандидатом он стал, попал и в докторантуру), сам он судить не брался. Приятели его из технарей и медиков определили его в «балбесы», и это Ковригина не расстраивало.

И сегодня Ковригин был агностик.

Из-за чего и куда произошло хождение земноводных да еще и с одолением погибельного шоссе (кстати, ведь рядом под шоссе была дренажная труба!), обсуждать не имело смысла. Мало ли из-за чего и куда. Тем более что как-либо вмешиваться в это хождение ни ему, ни другим, более разумным, не было дано. Значит, природа или её мелкие исполнители так распорядились. Может, в эту пору и положено было случиться лягушачьему нересту. А может быть, прав Кардиганов-Амазонкин, тварям, от наших привычек далеких, захотелось потрахаться лишний раз, они свободные существа в свободном государстве, а кое-кто из их авторитетов, возможно, и посмотрелся передач Анфисы или «Дом-2». Или же определенное сроками их размножение в нынешнем сезоне не дало ожидаемого урожая, и вышло чрезвычайное предписание удовольствие повторить, но с большим усердием. И нечего Ковригину было разгадывать загадки, какие всё равно не разгадаешь. Тем более что они не из его жизни и не из жизни его отряда млекопитающих.

Забывать шествие земноводных, пусть даже с медузами и тритонами, Ковригин не намеревался, но постановил: держать в голове лишь зрительный ряд вчерашнего дня, в суть его не вникать и со своей судьбой никак не связывать. И при этом мысли о лягушках сейчас же загнать куда-либо в угол или подпол сознания. И следовало плеснуть ещё одну банку «Старого мельника» в пивную кружку, сесть к старенькому компьютеру и заняться делом.

А занимался он тем, что мусолил сочинение о Рубенсе. К сочинению же этому он готовился месяцы. Конечно, полагал Ковригин, для нашего просвещенного СМИями народонаселения, приучаемого к пустоте в мозгах теперь ещё и экзаменами ЕГЭ, какой-то мазила Рубенс – фигура, возможно, даже менее важнотазимательная, нежели существа земноводные, бесхвостые, способные к спорным переползаниям. И все же, не имея в виду какие-либо корысти, Ковригин писал о Рубенсе. И главным образом не о Рубенсе-живописце, тут давно было всё выяснено и разъяснено, а о честолубивом человеке, склонном к авантюрам, временами по сути – разведчике и дипломате, искусно или артистично-рискованно ведущем себя «с тайными поручениями», скажем, в Испании, Париже и Лондоне. Однако ни строчки не выдавили из клавиатуры компьютера пальцы Ковригина.

Опять полезли ему в голову мысли о лягушках. Теперь они были связаны с соображениями Ковригина о собственном несовершенстве. Он считал себя начитанным человеком, с системным подходом к знаниям. Что-что, а системные уроки МГУ давал. Сейчас же в мысли Ковригина, помимо его желания, врываются обрывки, обмылки каких-то дурацких воспоминаний, в которых так или иначе существовали лягушки. Вот Яхрома привиделась, летние дни у тетушек в Красном поселке. Ковригин-отрок с пацанами лежит на берегу канала, мокрый, сохнет, теплый воздух обдувает крепкое мальчишечье тело, будто ласкает его. Блаженство. Серо-бурая волжская вода (кораблей и плотов нет) тихо и смиренно лижет булыжники береговой вымостки. Доброжелательность мира. Лень. Кто-то сопит на бетоне латка рядом. И будто сквозь сон слышится: «Женька, перестань надувать лягушку! Смотреть противно!» Ковригин открывает глаза. Женька Телёпин с соломинкой во рту надувает лягушку. «Женька, прекрати! – рычит Ковригин. – Утоплю!» Кто-то добавляет: «Мертвая лягушка – к дождю!» А кому охота, чтобы в день каникул шел дождь? И ещё. Слова тетушек: «Не бери в руки лягушек – бородавки будут». В руки лягушек Ковригин не брал. Кузнечиков брал, стрекоз, бабочек, саранчат, коли появлялись, даже птенчиков дурных, свалившихся на землю и не вставших пока на крыло, ершей сопливых брал, а лягушек никогда. Возле воды пришло к

нему однажды радостное соображение: «Брассистка – высшая стадия развития лягушек». Соображение это было вызвано Юлькой Лобовой, Ковригину симпатичной. Юльке оно и было высказано. Юлька высокомерно не обиделась, но заявила, что она переходит на баттерфляй, там есть перспективы. «Значит, ты будешь отныне лягушка-бабочка. Или порхающая лягушка»...

«Погоди! – остановил себя Ковригин. – А откуда они взялись, вчерашние-то? Где они жили-поживали прежде-то? Что-то я их не видел...»

Действительно, сидели или прыгали какие-то особи и в его саду, не квакали, а старались быть незаметными, пожирали комаров с мошками, и другую дрянь, порой и наглевших улиток, но и было их всего несколько штук. И в грибных походах, в лесах и рощах, Ковригин лягушек почти не встречал. Откуда же чуть ли не Батыева орда собралась вчера и двинула в поход?

Не в их ли луже сидели они, помалкивая до поры до времени? Впрочем, они и вчера не были шумны и разговорчивы...

Ковригин уже вспоминал накануне о нраве и судьбе здешнего оврага. А история его имела продолжение. Первоустроители огородно-садового поселка были людьми относительно молодыми, громкогласными, энергичными и с хозяйственными связями. Про таких говорили тогда: «Энтузиасты с задоринкой». На планах новостроя улица, должна проходить по северному берегу оврага, именовалась Набережной (на ум фантазеров приходили набережные Ленинграда со львами и сфинксами). Среди энтузиастов был и член правления Кардиганов-Амазонкин, по рассказам соседей, тогда – первейший горлопан, но и умелец выстраивать ехидные словесные обороты, в свое время, говорят, смаковал выступления министра иностранных дел А. Я. Вышинского на заседаниях ООН. Читал и Цицерона, жалел, что не в подлиннике. Амазонкина и выбрали ответственным за устройство в овраге пруда с купальнями, лодочными причалами, заселенного – ко всему прочему – и приветливыми карпами. Прудоводство, как и разведение картофеля в горшках на подоконниках или загадочная гидропоника, в ту пору процветало, не все гнать шпалы с рельсами к Тихому океану. И за два года пруд был устроен. Соорудили земляную плотину-запруду с бетонной трубой и металлическим засовом в ней для выпуска лишней воды. И всё это – как в фантазиях: хочешь, плавай туда-сюда, выйдет – два километра, хочешь, рассекай талую воду веслами, хочешь, стирай подштанники с досчатых мостков, хочешь угощай тещ и котов карпами и карасями. Но на десятый год общественного благоухания плотину по весне прорвало, бетонную трубу выбило и отволокло бурлящей водой метров на тридцать вниз по оврагу, а шлюзовый засов искорежило. Денег на восстановление пруда, естественно, не нашлось, а большинство огородников к этому и не проявило расположения, уж больно гадили, орали и дрались на южном берегу чужаки, хулиганье из Троицкого, какому еще предстояло стать подольско-чеховской мафией. И осталась под плотиной имени Кардиганова-Амазонкина лужа, правда, не малая, метров пятьдесят на пятьдесят, по ней мальчишки на плотиках (и Ковригин с ними) играли в пиратов, по откосам посиживали с удочками пенсионеры, уверявшие, будто в водоеме завелись судаки, но не клюют, подлецы, ротанов здесь всё же вылавливали. И, конечно, в мае и позже там всё квакало, по ночам – противно и на километры вокруг, и головастики кувыркались. Теперь лужа уж совсем мала, удильщики пропали, бока лужи обросли камышом (откуда он здесь взялся?), а в последние две осени на луже была замечена цапля, задумчивая, с приподнятой над водой лапой, и можно было понять, сколько в луже воды. В канун октября цапля улетала.

Стало быть, из нашей лужи такого воинства лягушек, медуз, тритонов, русалочек, даже если их пощадила цапля, в дорогу по глиняной тропе никак не могло было бы заманено или мобилизовано. Откуда же они взялись?

Правда, старушка Феня из ближней деревни Леониха, по привычке носившая в дом Ковригиных мед, как-то уверяла, что, по их легенде, где-то здесь есть бездна, и в ней живет страшный, но не леший и не водяной, а просто лохматый Зыкей (или Закей), он-то в свое время и разогнал пруд с постирушками, с карпами и карасями, он и ещё что-нибудь из озорства ухлопонит. А может, и не из озорства, а со зла и от досад.

А еще Аристофан! Вспомнилось вдруг Ковригину. Какой Аристофан? Тот самый. Но он-то к чему, он-то с какого бока при то ли Зыкее, то ли Закее? А к тому, что башка его, Ковригина, забита всяческими бесполезными сведениями, применение которых при оценке простейших фактов никакого толку не дает.

Аристофан вспомнился потому, что у него есть комедия «Лягушки», и её Ковригин в студенческие годы читал.

Сразу пришла на ум фраза: «Иных уж нет, а те, что есть, – ничтожество». Цитата в «Лягушках» из пропавшей пьесы Еврипида. Её произносит Дионис, он же Бахус, он же Вакх. А где там сами лягушки? Ковригин забыл. Осталось в памяти вот что. Студент Ковригин посчитал тогда, что комедия Аристофана и для его века – литература высокого уровня с сочными текстами для актеров и двумя забавными пикировками: бога Диониса и его слуги Ксанфия (эта – с элементами приземленно-бытовыми) и Эсхила с Еврипидом (тут – дуэль из-за смыслов и способов искусства и его влияния на жизнь человека). Победителем Дионис признал Эсхила и возвратил его из небытия для совершенствования народа (самому же Ковригину тексты и сюжеты Еврипида были симпатичнее). Застрял и надолго в восприятии Ковригина эпизод с кашей. С одним из персонажей Дионис желает поделиться степенью своего томления (ждет встречи с Еврипидом). Томление это ростом с великого Мамона. «По женщине? По мальчишке? По мужчине?» – не может понять страсти Диониса собеседник. «Томление такое душу жжет мою... Но попытаюсь разяснить сравнением. Тоску по каше ты знавал когда-нибудь?» «По каше, – радуется собеседник, – ну ещё бы! Тридцать тысяч раз... Про кашу? Понимаю все». Собеседника Диониса зовут Гераклом. Собеседнику бы этому соорудить мемориал в имении Баскервилей! Впрочем, если принять во внимание достижения умов «новых хронологов» и примкнувшего к ним известного погонялы слонов и коней по доскам в направлении компьютеров, должно признать, что никаких античных времен не существовало, а имя богатыря, придуманного ради оболванивания неразумных голов, слямзили с рекламы каши «Геркулес». А если и существовал какой-то амбал-здоровяк с легендами и анекдотами, то существовал в условном восемнадцатом веке, и был это – либо купец Овсянкин, либо мельник Овсов. Лягушек же из текста Аристофана Ковригин так и не мог вспомнить. «В Москве посмотрю...»

Фу ты! Опять черт-те что лезет в голову, рваное, лоскутное. Вон из соображений, вон лягушки, и скользкие, с бородавками, и мифологические, всякие там царевны и дочери тритонов! Вон, и навсегда! Брассистка – высшая стадия развития лягушек, с длинными крепкими ногами и впечатляющей грудью, развитой гребками загоревших на сборах рук. Только о таких и стоит думать.

И назад – к Рубенсу!

Но и Рубенс не шел. Не оживал, не пробивался к Ковригину из рам своих развешанных по миру узилищ.

«Тут не в лягушках дело, – сообразил Ковригин. – А в Петьке Дувакине. В нем, стервеце!»

Петька Дувакин был работодателем Ковригина. Не одним, слава Богу, работодателем. Но доброжелательным и заинтересованным. Он выпускал журнал «Под руку с Клио» (название легкомысленное, но легкомысленности в публикациях не было). Ковригин присутствовал в журнале каждый месяц. То с колонкой, то с текстом на пять полос (с картинками). Эссе о Рубенсе было обговорено и ожидаемо, однако в бумагах и решениях Дувакина застряла

«заметка» Ковригина (так именовал её сам автор) о костяных пороховницах. Дувакин морщился, хмыкал, и Ковригин стал упрямыться, мол, если не выйдут «костяшки», то и Рубенса вы не получите. И вот теперь задержкой с «заметкой» он готов был оправдать свое пустое сидение над текстом о Рубенсе.

«А схожу-ка я в лес!» – решил Ковригин.

И сходил.

В ельнике нарезал сыроежек, попались ему и солюшки, белые и черные подгрузди, местному – подореховки и подрябиновки, стояли на опушках подберезовики, были брошены в пакет два боровика и лисички. Но нынешний лес можно было признать пустым. Лесной подрост был еще зеленый, пни пока не взорвались опятами. В сыром мху под орешником Ковригин заметил лягушат – значит, иные из них никуда и не двинулись. Хотел в расчете на белые перейти на южный берег оврага к дубам и липам, но посредине оврага, где когда-то прокатывал барышень на лодках, провалился в яму, забитую крупными ветками и даже досками (откуда они?), мог и повредить ноги, бранясь вернулся на свой берег. «Зыкей-то лохматый живет в досадах!» – вспомнились слова леонихской Фени.

Дома возился с грибами, не лишней оказалась к ним картошка в мундире, была откупорена и бутылъ «Кузьмича». Под одеяло Ковригин нырнул в уверенности, что когда он прикроет (смежит!) веки, как и в прежние времена, увидит грибы, грибы, грибы в траве, во мху, в опавших иголках, и станет покойно и хорошо. Но и нынче вместо грибов тотчас же поползли перед ним лягушки, медузы, тритоны, кто-то слизывал их языком гигантского муравьеда, а потом потянулась строка из Энциклопедического словаря, зачернела, превратилась в транспарант с площадной демонстрации: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ». Тут кто-то гнусно заорал, но будто бы вдалеке: «Для ловли раков нет лучше приманки, чем жирные лягушки! Пейте пиво „Толстяк“, чрезмерное употребление которого...» И снова поползли слова: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ».

3

Ковригин проснулся рано, но и Кардиганов-Амазонкин уже не дремал.

Ковригин, позевывая, потягиваясь, вышел открывать замок калитки, а Амазонкин уже прогуливался вдоль его забора. Амазонкин, хмырь болотный, болотный хмырь (в болотах, стало быть, водятся и хмыри? Цыц! Хватит!), держал в руке кожаную папку, будто явился к Ковригину делопроизводителем в надежде получить от Ковригина подписи на бумагах. Но папку не открыл, а отодвинул левую ногу с намерением произвести поклон, но не произвел, а снял чумацкую соломенную шляпу и помахал ею, произнеся приветственно-язвительно:

– Солнышко. Дороги просохли. Так что, машина к вам прибудет без помех и забот.

– Какая машина? – удивился Ковригин.

– Какой предназначено, – сказал Амазонкин. – Богатая машина. Серебристая. Или платиновая.

На террасе затрещал сотовый. Мелодиями телефон Ковригин не одаривал. Один из его знакомых всобачил в мобильник громовые звуки государственного гимна, чем при входящих (или нисходящих?) звонках приводил сотрудников за соседними столами в трепет. Двое конторщиков при этом непременно вскакивали, а один из них бормотал никому не известные слова (однажды знакомому Ковригина показалось, будто он услышал: «И все биндюжники вставали, когда...»), журить бормотание коллеги он не стал, вдруг и впрямь показалось?). У Ковригина сотовый лишь трещал. Или дребезжал. Но и при дребезжаниях Ковригин чувствовал, в каком случае телефон брать, а в каком – жить дальше без пустых разговоров.

Звонил Дувакин.

– Шура, ты когда будешь в Москве?

– Когда начнутся занятия. То бишь в конце октября.

– Все загораешь?

– Загораю, – согласился Ковригин.

– Электронная почта у тебя есть?

– Зачем мне она?

– С людьми общаться! – буркнул Дувакин.

– Это с кем же? – рассмеялся Ковригин. – Иных уж нет, а те, кто есть, – ничтожество.

– Ты про меня, что ли?

– Это не я. И не про тебя. Это Еврипид. И возможно, про Эсхила.

– Начетчик ты все же, Ковригин. И пижон, – рассердился Дувакин. – У меня времени нет. Придется человека отправлять. И чтобы он тут же вернулся с твоей визой.

– С какой визой? На чем?

– На твоих костяных изделиях. Срочно приходится ставить в номер! Марина, у нас есть кого к Ковригину послать? – это уже к Марине, секретарше. – Говорит, есть кого.

И сейчас же – голос Марины, лани шелковистотрепетной:

– Ну конечно, Сан Дреич, для тебя всегда всё найдётся, соскучились по тебе. Жди красавицу.

Отчего-то бабы разнообразных очертаний, страстей и возрастов были благожелательны к нему. Отчего, Ковригин и сам не знал. Да и старался не вникать в суть их благожелательности, возможно, и вероломной.

Спросить, какую такую красавицу ему следует ждать, Ковригин не успел, Петр Дмитриевич Дувакин разговор оборвал. «Цу», «цу», «цу» отцокало и утихло.

Ага! Ковригин чуть ли не руки потирал, торжествуя. Дыра, стало быть, образовалась в журнале Петра Дмитриевича, пробоина, течь, и подруга Петра Дмитриевича, несравненная Клио, в недовольстве могла наморщить лоб.

Хотя чему тут было радоваться? Ещё поутру Ковригин был в обиде на Дувакина тот, мол, не может по справедливости оценить его, Ковригина, работу, тем самым проявляя жлобство и высокомерие. Потому, мол, он и с Рубенсом застрял. Теперь же Ковригин чуть ли не стыдился своей «заметки», думал: «А что уж в ней такого замечательного?» Сочинение было явно компилятивное, со ссылками на исследования И. Забелина, И. Ухановой, А. Кирпичникова, публикации в Трудах Эрмитажа, Исторического музея и т. д. Но популяризаторство (или просветительство) – то же ведь не последнее дело. Хотя ни на какие открытия Ковригин не претендовал, имелись в статье и собственные его наблюдения, возникшие после знакомства с северными косторезами, холмогорскими, чукотскими и особенно тобольскими. Тобольск Ковригин любил, с охотой ездил в столицу Сибири и в командировки, и по приглашению тамошних патриотов. В свое время Ковригина необъяснимо увлекло попавшееся ему на глаза словосочетание «костяные пороховницы», чуть ли не околдовало его. А всего таких пороховниц (или натрусок, тоже слово замечательное) в музеях России имелось меньше десяти штук. Среди прочих завихрений и заскоков Ковригина появился теперь, и надолго, интерес к костяной миниатюре, украшавшей веками и оружие, и всякие штучки, ублажавшие прекрасных дам (уже во времена Данте на гребенках из слоновой кости рыцари преклоняли колени перед своими прелестницами). Материалом для мастеров Аугсбурга, Нюрнберга, Дрездена была именно слоновая кость. Северные же резчики использовали кость моржовую, Рыбий зуб, из-за которого сибирские землеустроители и вышли к устью реки Анадырь. Каких только костяных поделок не создавали умельцы! Именно с ними и были хороши (естественно, и ценны) и пищали, и сабли, и бердыши, и охотничьи ножи, позже – из Тулы и Златоуста. А всяческие табакерки? А ларцы? А хранилища дамских секретных средств? Среди прочих костяных изделий не последними были натруски, то бишь пороховницы, это уж – для утех и бахвальств охотников побогаче. При этом резчики брали сюжеты канонизированные, в частности из книги начала века восемнадцатого «Символы и эмблематы». Добавляли и собственные фантазии, но чаще следовали чужим штудиям и оглядывались на житейские спросы. Ковригин же, будучи в Тобольске, однажды охнул: среди работ мастера, обычно украшавшего моржовые бивни картинками трудовых будней оленеводов, увидел костяную диковину, кривоудлиненную на манер натруски, с сюжетом, несомненно, нюрнбергского художника шестнадцатого века, может, взятом у самого Дюрера. Каких только людей европейских (а стало быть, и мировых) значений не пригоняла судьба в духовный и торговый котел Сибири, Тобольск, один просвещенный хорват Юрий Крижанич чего стоит! Кого – в ссылку, кого с дипломатическими поручениями, кого будто бы в путешествия, но с расчётами и с приглядом к силам и богатствам таинственных прежде земель. Кто-то из них, возможно, и завозил в Тобольск нюрнбергский (или аугсбургский?) шедевр, а возможно, и кто-то из временных гостей или сидельцев Тобольска и сам был первостатейным миниатюристом, и теперь его умение проросло сквозь лиственничные настилы веков и возобновилось на моржовой кости по соседству с охотничьими забавами ненцев или чукчей.

Об этом своем наблюдении Ковригин и сообщил в статье.

О другом собственном знании решил пока помолчать. Пусть публика (хоть даже этой публики и двадцать человек, но это так, для самоуничижения, пижонство в мыслях; читателей у «Под руку с Клио» не меньше двадцати тысяч, а может, их и больше), пусть публика попривыкнет поначалу к «костяным пороховницам», а потом он и обнародует один предмет, косвенно родственник «костяным пороховницам», предмет, и для самого Ковригина загадочный, манящий раскопать его историю и истории персонажей, с ним связанных. Нынешняя «заметка» Ковригина могла вызвать отклики, вдруг и со сведениями о судьбе потаенного пока предмета, и отсрочки публикации её, понятно, раздражали Ковригина и обостряли в нем страсти кладоискателя.

И вот – нате вам! – статья поставлена в номер.

Мысли о пороховницах отвлекли Ковригина от всего сущего, и он не сразу сообразил, что на улице возмущенно ржет конь и в нетерпении бьет по земле копытом.

То есть никаких скакунов или кобылиц не было, а у его забора стоял серебристый «лендровер» с тонированными стеклами и производил нагло-невежливые машинные звуки.

Как только Ковригин подошел к калитке, дверцы автомобиля открылись, из передней вырвалась молодлица непонятных пока Ковригину лет, из задней выполз Кардиганов-Амазонкин с утренней папкой в руке. Молодлица была в экстрим-прикиде или сама экстрим, Амазонкин, обычно важный, с шеей-перископом, отчего-то ужаслся, измельчал, шею же свою, ставшую черепашей, втянул в панцирь.

– Вот, Александр Андреевич, – Амазонкин, будто дворецкий, из смирных и напуганных, хозяину замка, доложил Ковригину: – Я стоял в раздумьях у ворот... Троицких... а подъехал лимузин, и я помог товарищу найти ваш участок...

– Спасибо! – резко сказала молодлица и взмахнула рукой в сторону Амазонкина, то ли и вправду благодарила его, то ли давала понять: «Брысь!».

Амазонкин, ещё более измельчав, кавалеристом кривя ноги, засеменял восвояси.

Молодлица повернулась к Ковригину.

– Вы Ковригин?

– Ну, я...

Молодлица выглядела то ли рокером, то ли байкером. И может, и парашютисткой из ступинских рекорсменов, выписывающих в небесах кренделя и поздравительные слова. Ковригин в этом не разбирался. Во всяком случае, не хакером. В черных кожаных штанах (с кошачьим подбоем – было добавлено позже), с заклёпками, с наборами металлической фурнитуры, с зимними, давосскими очками, сдвинутыми на высокий загорелый лоб («Ба, да лоб-то выбривали, как во Флоренции при Данте! Но тогда пилинг проводили с помощью деревянной или стеклянной лопатки, вот и брови у неё выгнуты углом... – подумал Ковригин. – Но что пристал ко мне этот Данте?» Пожалуй, куртка госты с красными клиньями из какого-то ноу-хау или нано материала все же более соответствовала воздушным видам спорта.

– Я от Дувакина, из журнала. Привезла вам...

И она протянула Ковригину руку:

– Лоренца Шинель.

«Вот отчего Данте-то возник, – подумал Ковригин, – с его флорентийками... И вообще с Флоренцией...»

– Вы новая сотрудница? – спросил Ковригин.

– Типа того... – кивнула гостя.

– Вот ведь сидишь в лесу, – завздыхал Ковригин. – А о самом интересном узнаешь позже всех... Так как, как вас именовать?

– Лоренца Шинель... Шинель – это фамилия моего последнего мужа. Вы, наверное, о нем слышали...

– Может, и слышал... Вроде бы очень богатый... Что-то там по лекарствам... – изобразил напряжение мысли Ковригин. Не помнил он никакого Шинеля...

– Был.

– Был? С ним что-то случилось печальное?

– Был очень богатый. До развода. А теперь уверяет, что его обобрали. Молчал бы. Не лезть таракану на ржаную лепешку... Свою визитку я вам оставляю. А теперь давайте перейдем к делу.

Из автомобиля был доставлен бумажный пакет с физиономией Клио, будто эту Клио кто-то наблюдал и помог криминалистам с Петровки сотворить её словесный портрет. Впрочем, Клио на пакете имела и фигуру, а потому и могла протянуть руку расположенному к

сюжетам истории читателю. Лоренца приволокла и картонную коробку, основательно перетянутую лентами скотча.

Бумаги из пакета было велено прочитать немедленно, а с макулатурой из коробки можно и не спешить, распечатать её хоть бы и завтра...

– Долго вы меня искали? – из вежливости спросил Ковригин.

– А чего было вас искать? – удивилась Лоренца. – У меня лоцманом или штурманом сидел этот утконос, «сейчас – направо, теперь – налево»...

– Это здесь, – сказал Ковригин. – Обычно, начиная с Симферопольского шоссе плутают в поисках нашего поселка...

– И тут никаких забот, – сказала Лоренца. – У меня же был ваш адрес. Вот он: «Чеховский район. Урочище Зыкеево. Садово-огородное товарищество издательства „Перетрут“»...

– «Перетруд», – поправил Ковригин. – Все, что могли, давно перетерли...

– Ну, «Перетруд»! – чуть ли не обиделась Лоренца. – Какая разница!

– Урочище Зыкеево... – пробормотал Ковригин.

– Ну и что? Вы, я вижу, будто бы взволновались отчего-то. Забыли, что ли, что проживаете в Урочище Зыкеево?

– Забыл, – сказал Ковригин. – В каких-то бумагах видел это название... Но забыл...

– И что же в нем такого особенного, чтобы волноваться-то? Урочище и урочище. От того у вас и сырость. Небось, клюкву можете разводить и морошку. И в Зыкееве никакой странности нет. Один из моих мужей был Зыкеев... Утонул...

Позже, в Москве, Ковригин заглянул в Даля и был отчасти разочарован. «Урочище» оказалось производным от занудливого слова «урок» и употреблялось землемерами при межевании. То есть какой-то Зыкей мог быть наделен урочищем. Впрочем, тут же Ковригин посчитал, что именно их урочищу с оврагом свойственны сырость, мрачность затененности, туманы, а страшный и лохматый Зыкей вполне может соответствовать леонихской легенде.

Тогда же вблизи Лоренцы он все повторял:

– Урочище Зыкеево...

– Чего вы бормочите! – возмутилась Лоренца. – Вы бы лучше накормили девушку. Вчера в каком-то ресторане, не помню каком, но с немцами, в меня насовали одну спаржу. И у меня сегодня ноги тонкие.

– Чем же мне вас накормить-то? – растерялся Ковригин. – Суп из концентрата – горох с копченостями. Сосиски...

– Сосиски! – рассмеялась Лоренца. – Соя в резинке... За безопасный секс...

– Ну, не знаю... Картошку могу отварить. Свежая... К ней – грибы жареные. Норвежскую селедку открою. Или банку горбуши... А напитки есть всякие – и коньяк, и ликер, и херес массандровский, и рейнское вино... Вот это есть...

Водка и пиво не были упомянуты Ковригиным ради соблюдения собственных интересов.

– Рыбу не ем. Противна организму. От напитков не отказалась бы. Но за рулем. А вам надо поспешить с вычиткой. Вот яблок, вижу, у вас видимо-невидимо. Яблоки ваши для начала я и откушаю. А что вы на меня так смотрите?..

– У вас глаза... – пробормотал Ковригин.

– Малахитовые, что ли? Как у хозяйки Медной горы? Так это линзы. На нынешний случай. А на другие случаи у меня имеются линзы и фиолетовые, и антрацитовые, и малиновые. Делов-то!

– Нет, я про другое... – сказал Ковригин, смущаясь, будто бы проявляя бестактность. – Они у вас идеально круглые. Как монеты... Как спутник наш в ночь полнолуния... Я таких не видел...

– Чепуху вы какую-то городите! – Лоренца, видимо, рассердилась, очки со лба спустила на малахитовые глаза. – Они что, некрасивые?

– Красивые, – сказал Ковригин. – Но... своеобразные... Будто буравят что-то. В природе. Во мне.

– Ладно, успокойтесь, – произнесла Лоренца, голос у нее был низкий, полётный, коли б имела слух и прошла выучку, могла бы при советах Дзефирелли жрицей Нормой пропеть слова заклинаний. – Бабу голодную ублажить не можете, так скорее разбирайтесь с бумагами. А я пойду к вашим яблоням. Полнолуние-то, кстати, сегодня.

Но ноги удержали Ковригина на месте. Минуты две он стоял и наблюдал за новой сотрудницей журнала «Под руку с Клио». «Самостоятельная дама, дерзкая, – думал Ковригин. – Такие склонны к авантюрам. Небось и впрямь с ревом гоняет по ночам на своем „харлее“ или „ямахе“, будоража добродетельных москвичей...» Банальные соображения «на кого-то из знакомых она похожа, где-то я её видел раньше» – в голову Ковригину не приходили. Нет, не видел, нет, не похожа. Но угадывалось в ней – в облике её, в движениях её тела, в её жестах умеющей повелевать – нечто предполагаемое в бытии, нечто обязательное и неизбежное в развитии сущего, с чем Ковригину пока не доводилось встречаться, но что ему ещё предстояло ощутить или даже познать. От этого рождалось беспокойство и оживали подпольные желания.

А слова «бабу голодную ублажить не можете» вызывали у него теперь и досаду...

4

Не успел Ковригин на террасе прочитать записку Дувакина («А ничего, ничего оказывается у тебя текст-то, и ощущается в нем твоя сверхзадача, есть у тебя, видимо, секретец, и раскрытием его, надеюсь, ты ещё обрадуешь наших читателей. Бог в помощь! А теперь гони Рубенса!»), как из-под яблонь раздался торжествующий крик. Можно даже сказать, и не крик, а вопль, чуть ли не животного, и в нем были не только торжество, но и восторг, и будто бы утоление страсти. А через секунды на террасу влетела Лоренца с тремя здоровеными улитками в руках.

– Виноградные! – вскричала Лоренца. – Виноградные улитки!

– Не мешайте! – поморщился Ковригин. – Ну, улитки. Ну и что?

– Виноградные улитки! – не могла успокоиться Лоренца. – Они вкуснее, они сладостнее устриц!

– Ну и ешьте их на здоровье! – высказался Ковригин в раздражении. – Если вам они милее сосисок! Если те для вас – и не сосиски вовсе, а соя в презервативе! Сам не зная отчего, Ковригин выступал теперь правозащитником своих съестных припасов.

– Откуда они в вашем саду? – волновалась Лоренца.

Ковригин принял из её рук улитку на обозрение. Пальцы гостьи были холодные. Лоренца будто бы оценила его ощущения, и от пальцев её тотчас пошел пар. Улитка была раз в пять крупнее обычной пожирательницы грибных шляпок и листьев капусты, откормленное тело её вываливалось из хитинового рога раковины.

В одной из своих поездок Ковригин попал на берег Западной Двины в немецкий некогда, а потом – еврейско-русский городок Креславль (ныне – гордо шуршащая латами Краслава). Там, в парке возле замка остзейского барона, осенними ночами охотники с ведрами и фонарями производили отлов виноградных улиток, улитки в досчатых ящиках ползали в поисках спасительных щелей, скрипели, скреблись, по шесть тонн деликатеса каждый сезон отправляли самолетами во Францию и Бельгию.

– Ну и что? – повторил Ковригин. – Ну, виноградные улитки. Потепление. В газетах писали. Теперь и у нас жрут что не попадя. Говорят, объявились у оврага...

– Где овраг? – спросила Лоренца.

– А там... От меня – к югу. Там живет страшный и лохматый Зыкей...

– Тащи ведро! Или корзинку! – в воодушевлении Лоренца перешла на «ты».

С ведром она перебралась через садовый забор, да что – перебралась, перелетела через него и пропала в березовой приколодезной роще.

– Там цапля стоит, – зачем-то бросил ей вслед Ковригин.

Ковригин, успокоившись, вычитал гранки, удивился нынешней деликатности Дувакина, правка того была техническая, ехидными замечаниями поля он не позолотил, отнесся к тексту даже и без мелких издевок. А мелкие-то издевки Дувакина, кстати, выходили обычно самыми обидными.

Великодушным и добродетельным вельможей, возможно перечитавшим накануне творение Гаврилы Романовича Державина, восседал сейчас в Москве редактор Дувакин. Ковригин схватил было сотовый телефон, но рядом с ним, гремя ведром, возникла Лоренца.

– А говорил, что нечем кормить! И цапли уже никакой нет! Где у вас накрывают на стол?

– На кухне... – пробормотал Ковригин.

– Ну хотя бы и на кухне! – вскричала Лоренца. – Ну хотя бы и в этом скособоченном сараюшке! Хотя бы и рядом с газовой плитой! И выставляй обещанные напитки!

– Вы же... ты же за рулем! – встрепнулся Ковригин. – А Дувакин ждет к вечеру.

– Не бери в голову! – захохотала Лоренца.

И действительно, в голову в ближайшие часы Ковригин ничего не брал, если не считать закусок и напитков. К коньяку и ликеру, пошедшим в сопроводители моллюсков, неизвестно зачем преодолевших Оку (поездом, что ли?) и поперших через ковригинский садовый город на Москву, был вынут из морозилки и литровый «Кузьмич», из-за чего предстояло пострадать бедолаге Рубенсу.

В холодильнике Ковригина не нашлось лимона, что Лоренцу расстроило. Впрочем, по её вкусам, к улиткам первым делом требовались сливочное масло и укроп, масло имелось, охапку же укропа доставили с грядки. Не лишними оказались майонез и уксус. Порадовала Лоренцу и предоставленная ей серебряная ложка, пусть и чайная. В соус Лоренца определила два сырых яйца, слава Богу, коробка яиц была закуплена накануне, «Ради опыта, – приговаривала Лоренца, взбалтывая яйца, – ради опыта!» Ну, ради опыта так ради опыта, нам не жалко...

И началось пиршество. То есть пирувала Лоренца, с шумом, с восторгами, а Ковригин, хотя и попивал (под грибы), сидел при ней наблюдателем. А когда Лоренца, отлучив от дел серебро, схватила нож и столовую ложку и ими стала добывать деликатес, а потом и с неким хлюпающим звуком вычмокивать остатки улиток из раковин, Ковригин не выдержал и сварил молочные сосиски, показавшиеся ему, впрочем, отвратительными. Отвращение пришлось снимать полным стаканом «Кузьмича». Лоренца же, может, из-за Кузьмича, а может, и по какой иной причине, несмотря на её чмокания, отвращения у него не вызывала. Напротив... Женщина сидела рядом с ним своеобразная. Очень может быть, что и своевольная. А это Ковригину было по душе. Расцветка её (зелеными были не только глаза Лоренцы, кстати, они лишились полнолунной круглости, по хотению Лоренцы или сами по себе, но зелёными были и её ресницы, брови углом, тени на веках, помада на чуть припухлых губах жаждущего рта, «да он расходится у неё дальше ушей...») сейчас несколько не раздражала и не удивляла его. Виделась она азартным животным, самкой несомненной, скорее всего из хищников. В своем чавкающем удовольствии и урчании она не только не порождала в Ковригине неприятные чувства и тем более – позывы к тошноте, а, пожалуй, даже радовала его и вызывала возбуждение, напоминавшее о том, что и он самец.

– Ах! Все! – вырвалось из Лоренцы, и отрывок заполненных желудка и пищевода подтвердила её удовлетворенное ходом жизни состояние. Она живот погладила, крикнула и, снова не сдержав отрывки, произнесла: – А ты, Ковригин, халтурщик...

– То есть как? – удивился Ковригин. – Почему я халтурщик? И в каком смысле?

Лоренца зевнула. Сказала:

– Небо затягивает. И холодает. Как бы заморозки не случились. Ты бы печку протопил.

– Протоплю, – хмуро сказал Ковригин. – Хотя и не вижу в этом нужды. Так почему я халтурщик?

– О Рубенсе сочиняешь. В компьютер перегоняешь текст. А у самого на столе книги разложены и тетради с выписками из других книг. То есть ты обыкновенный компилятор. Сдираешь у других.

– Ты недавно в журнале?

– Ну, типа того...

– Ты о Рубенсе слышала?

– Слышала, слышала... У меня у самой... В одном из домов висит Рубенс... «Леда и лебедь»...

– Тот, что ещё вчера висел в Дрездене?

– В Дрездене – копия! – возмутилась Лоренца. – У меня оригинал.

– Ну, понятно, – кивнул Ковригин. – Поздравляю Дрезден. А об открытии Америки ты что-нибудь знаешь?

– Ну, знаю, знаю... – капризно произнесла Лоренца, будто отмахиваясь от Ковригина. – Училась не в самом худшем вузе. Колумб там и тра-та-та...

– Судя по твоему выговору, училась ты в Сорбонне. Или в Гейдельберге. Так надо понимать.

– Увы, Сашенька, училась я на станции Трудовая Савёловской железной дороги. Во Всероссийском институте Коневодства, в народе – ВГИК.

– А я по бабке с дедом – яхромский! – обрадовался Ковригин. – От Трудовой километров десять к северу. А ты, стало быть, внучка маршала авиации. В Трудовой – их дачи.

– Ну, типа того, – икнула Лоренца. – Ты дрова для печки волоки.

– Чего же ты не приехала ко мне на кобыле или хотя бы на белом коне?

– Кобылы курьерам не положены, – сказала Лоренца.

– Каким курьерам? – удивился Ковригин.

– Не бери в голову, – сказала Лоренца. – Беги в сарай за дровишками.

Ковригин сбегал. Лоренца перешла в дом, к печке, прихватила с собой бутылку коньяка «Золото Дербента» и, зажав ноздри пальцами, боролась теперь с икотой.

– У тебя только одна комната будет прогрета, – сказала Лоренца. – А в ней один приличный диван. Придется тебе спать на полу у печки. Или со мной на диване. Если не побрезгуешь.

– Посмотрим, – проворчал Ковригин. – А что это ты зажимаешь ноздри?

– Задерживаю дыхание. До двадцати двух. И икота обязана пропасть. Или перейти на Федота. Совет тренера. Я ведь долго и всерьез занималась плаванием.

– Плавала, наверняка, брассом?

– Почему брассом? Кролем! Я крольчиха. Мы – братцы и сестры кролики.

– Ну значит, – сказал Ковригин, разжигая дрова, – Колумб там и тра-та-та? А дальше что?

– Колумб Америку открыл, чтоб доказать земли вращенье. И дальше – всякая чушь. Знаю, знаю, – поморщилась Лоренца, – вовсе он и не собирался открывать Америку, а из-за поганных турок, захвативших Константинополь с проливами, поперся в Индию обходным путем за какими-то пряностями и кореньями, то ли за гвоздикой или за ванилью, будто без них за столами был бы ущерб аппетитам...

– Бедный Колумб, – вздохнул Ковригин. – А он так и умер, не узнав, что «морем мрака» добрался не до Индии. Одна из радостей сухопутно-преклонных лет адмирала в Испании состояла в том, что ему дозволили передвигаться не на лошади, а на муле, его мучала подагра, и взбираться на мула было легче, да и трясло меньше. Королевские милости. Ты вот училась на коневода или на производителя колбасы «казы», а наверняка не знаешь, что в ту пору в этих двух Лже-Индиях лошади не водились.

– Не знаю, – зевнула Лоренца. – Может, и знала, но забыла... Ну и что?

– Да ничего, – сказал Ковригин.

– Спасибо за лекцию, – сказала Лоренца. – Ты меня занудил. И вроде бы захорошел, языком еле ворочал. А тут тебя понесло как по писанному. Чегой-то ты протрезвел? Под одеяло надо лезть. А ты полез на кафедру. К чему эта лекция?

«И действительно, – спохватился Ковригин. – Что это со мной? Ведь и вправду хорош был, а теперь как протертый тряпкой хрусталь. Неужели она меня так раззадорила и раздосадовала своим „халтурщиком“? Неужто меня так задело мнение какой-то заезжей Лоренцы Шинель?»

– Подожди с одеялом, – сказал Ковригин. – Печка должна отдать тепло. Ты меня сама завела. А с Рубенсом случай такой. Сложилось понятие «Нидерланды во времена Рембрандта». Нидерланды-то тогда процветали. А кто был Рембрандт? Никто. Поставщик товара для заполнения пустот на стене в доме бюргера. Кустарь из гильдии художников, мно-

гие члены которой, даже такие, как Хальс или Рейсдал, кончали жизнь в богадельнях. Маляр. Из тех, кого поджидали удобства долговой ямы. Ремесленник, ничем не значительнее кузнеца, красильщика тканей, и уж куда мельче сыродела или торговца тюльпанами. Это теперь мы охаем: Рембрандт, малые голландцы, миллионы долларов, нет им цены! А тогда была цена. Не дороже обоев. Понятно, я тут всё упрощаю... Рубенс был из Фландрии, Фландрия же входила семнадцатым штатом в Нижние земли. Что его подвигало в дипломаты, а по сути и в разведчики – тщеславие, желание вырваться из круга ремесленников в люди знатные, в аристократы, или жажда больших денег и большего почитания? Я пытаюсь понять и истолковать его жизнь, опять же по разумениям нынешнего московского обывателя, мне это необходимо... Может, для тебя это всё халтура, но иного я пока не умею... А для кого-то мои суждения могут оказаться и интересными... Впрочем, с чего бы и на какой хрен я вдруг принялся оправдываться перед тобой?

«Да ведь это не перед ней я оправдываюсь, – подумал Ковригин, – а перед самим собой... Она-то, поди, уже дремлет. Или даже дрыхнет. Эко я опасно и необъяснимо протрезвел. Фразы вывожу складно. Будто держу в голове всё своё сочинение. Нет, надо сейчас же обуздать себя „Кузьмичем“».

И взялся обуздывать.

– Оправдания твои были лишние, – услышал он, глаза Лоренцы были открыты. – А я о тебе знаю и нечто уважительное. Мне приходилось иметь дело с некоторыми твоими знакомыми.

Были перечислены эти знакомые. Имена их Ковригина не удивили. Однако упоминание Лоренцой одного из его приятелей Ковригина насторожило. И даже Ковригину показалось, что Лоренца вспомнила сейчас Лёху Чибикова не просто так, а с неким умыслом, словно знала нечто такое, что Ковригину не хотелось открывать ни ей, ни кому-либо другому. Или ждала от Ковригина вопроса, откуда она знает Чибикова и какой у неё к нему интерес.

Но Ковригин фамилию Чибикова будто бы не расслышал.

– Кстати, дорогой друг, Александр Андреевич, – спросила Лоренца, – а годов-то тебе сколько?

– Тридцать четыре, – сказал Ковригин. – Ну... тридцать пять скоро будет. А что?

– Ничего, – сказала Лоренца. – Выглядишь старше. Лет на сорок – сорок два...

– Изможден превратностями лирических приключений, – сказал Ковригин. – А у тебя я и...

– И не спрашивай. Врать лишний раз не хочу... Но коли ты такой воспитанный и облегчил жизнь Колумбу мулом, пора, наконец, тебе оказать и мне почести гостеприимства. Накормила-то я себя сама... Вон уже какой ливень за окном. Может, в снег перейдет. А сейчас-то мы не протечем?

– Если прольет, то только на террасе, – сказал Ковригин.

– А жаль, – будто бы вздохнула Лоренца. – Но все равно, стели постельку. Белье у тебя, чую, в том ящике. Ага, свежее. Могу доверить тебе снять с меня доспехи.

И Ковригин вовсе не противу желания, а пожалуй, и с охотой проявил себя постельничим или оруженосцем (коли произнесено – «доспехи»), снял с Лоренцы и, будто бы с изяществом, ковбойские сапоги, куртку поднебесную с красными клиньями и кожаные байкерские штаны. Полагал (и даже надеялся на это) увидеть на теле гостыи тончайшее (или напротив – «под деревню»), призывающее к эротическим подвигам белье, но под курткой и штанами обнаружилось нечто сплошное, то ли резиновое, то ли из неведомых Ковригину субстанций одеяние космических или подводных предназначений. Ноги Лоренцы Ковригина удивили и, уж точно, разочаровали: длиннющие, они, похоже, были без радующих мужиков утолщений у бедер и могли держать на себе известную в восточно-славянском фольклоре избушку. «А ещё заявляла, что занималась кролем!» – засомневался Ковригин.

– И это всё? – строго спросил Ковригин. – Я укладываюсь на лежанку вон у той стены и гашу свет.

– Как это всё! – возмутилась Лоренца. – А любовь оруженосца к госпоже? Без этого сегодня нельзя. Лампу настольную оставь. И поднеси мне напиток богов. Конечно, было бы замечательно произвести сейчас омовение, допустить к телам прислугу с благовониями, зажечь свечи в канделябрах, не эти, конечно, огрызки, что в вашем бунгало, позвать толпящихся у дверей музыкантов, шутов и в особенности – бродячих жонглеров. Но откуда всё это нынче взялось бы!

– Вечная помпезность великого шутовства снобов и сильных мира сего, – произнес вдруг Ковригин чьи-то чужие слова.

– Это ты о чём? – взволновалась Лоренца.

– Ни о чем, – быстро сказал Ковригин. И обратился к «Кузьмичу».

– Насчет бродячих жонглеров ты определенно не прав. Сама всю жизнь стремилась быть бродячим жонглером. Да где же ты? Иди сюда. С нектаром. И со своей телесной оболочкой. И брысь под одеяло!

Под одеялом тело Лоренцы было обнадёживающе (впрочем, и пугающе) голое, «не бойся, – сказала она, – оно уже наполненное», руки исследователя Ковригина сползли вниз, и были им обнаружены достойные Венеры бедра, ноги же Лоренцы (и на ощупь, не одними лишь руками на ощупь) оказались, как пришло в голову Ковригину, пышнобокими – и вверху, и у икр, а ягодички её требовали более длительных и сладостных изучений, и руки Ковригина на время были отозваны им к плечам и груди Лоренцы.

– Что ты застрял на мне? – выразила недоумение Лоренца. – Бородавки, что ли, или перья какие или роговые наросты ты ищешь на мне? Напрасно. Всё на мне как положено. А может, и лучше, нежели положено. И рыцарю твоему уже пора войти в мой дворец. Мы созрели...

Позже, впадая в дремоту, Ковригин посчитал, что потолок над ним протек, и это было странно, крыша чердака над комнатой никогда не текла.

5

Вышло, что Ковригин проспал до двух часов среды.

Если бы не Кардиганов-Амазонкин, спал бы и до вечера.

Но Амазонкин уже стучал в дверь террасы. Был сегодня не в соломенной шляпе развозчика соли в Новороссии, а в красной бейсболке. Интерес Амазонкина к спорту подтверждала майка с физиономией Маши Шараповой и рекламой фартового дезодоранта, а также сатиновые (но может, и шелковые? или из «чертовой кожи»?) трусы негра-баскетболиста из Филадельфии, ниспадающие ниже колен прямо на известные в поселке кирзовые сапоги с укороченными голенищами. В руке у него была плетеная корзина для грибов.

– День-то какой летний! Ни облачка. Жара! – обрадовался Ковригину Амазонкин. Показал на головной убор: – Это мне Лоренца Козимовна презентовала. И майку.

Ковригин хотел поинтересоваться, не в комплекте ли к бейсболке и майке презентованы и афро-американские трусы. Но тут же сообразил:

– Кто-кто?

– Лоренца Козимовна. Благополучия ей и процветания. Я ей ворота утром открывал. Она уезжала. У нас теперь новые ключи от ворот. Ах, ну да, вы же не ходите на собрания. Очень приятная женщина Лоренца Козимовна, – Амазонкин смотрел на Ковригина искательно и чуть ли не с любовью.

– Лоренца Козимовна... – пробормотал Ковригин. – Лоренца Козимовна... Случайно, не Медичи?..

– Да что вы! – взмахнул свободной рукой Амазонкин. – Какие здесь могут быть Медичи? У неё простая народная фамилия. Шинель.

– Ну да, ну да... Она же говорила. Шинель.

– А я в лес сходил, – сказал Амазонкин. – Думал, после вчерашнего ливня грибы выскочат. Нет. Но уж завтра-то наверняка появятся.

«Зеленые поганки!» – подумал Ковригин.

– Прокопий Николаевич, – сказал Ковригин, – мне надо за работу садиться. Лоренца... Козимовна... специально приезжала со срочным для меня заданием...

– Понял, понял, – заторопился Амазонкин. – Удаляюсь. При случае – Лоренце Козимовне привет и почтение.

– Всенепременно, – сказал Ковригин.

«Шинель... Ливень», – соображал он.

Вспомнилось. Прежде чем рухнуть в пропасть сна, ощутил: будто бы с потолка стало лить и следовало поставить под капель ведро или таз. Но сейчас в комнате с печью, по привычке называемой Детской, было сухо. Ничто не намокло. Кстати, простыня, наволочки и пододеяльник, будто бы ставшие вчера обеспечением гостеприимства, лежали в бельевом ящике нетронутые. Ковригин поднялся на чердак, и там было сухо, и самое главное – послевоенные, сороковых годов, комплекты «Огоньков», «Крокодила» и «Смены», перевязанные бечевкой, лежали ничем не порченные. Теперь Ковригин произвел более тщательный осмотр Детской, коли бы погода еще дней пять продержалась солнечной и теплой, на выходные могла прикатить сестра с детишками, и чужие, тем более (предполагаемо) женские, запахи её бы покоробили. А раздражать сестру Ковригин не любил.

Нет, Детская совершенно не помнила ни о какой Лоренце Козимовне. Но ведь этому болвану с кривыми ногами конника Буденного, Амазонкину, Лоренца Козимовна не только мерещилась, но и подарила бейсболку с майкой, вещи осязаемые. Да и для Ковригина, получалось, она была осязаемой, он помнил свои впечатления о её бедрах и ногах «на ощупь», и забавы с её телом чудились ему теперь сладостными, и если бы кто потребовал от Коври-

гина аттестации побывавшей с ним под одеялом самки, аттестации эти вышли бы самыми лестными. Но никто их не требовал, да и никому и не для кого-либо Ковригин их давать не стал бы. Он лишь ощущал сейчас сладость ночных лешачьих игр.

«Почему же лешачьих?» – сразу же кто-то запротестовал в нем. Впрочем, слово это можно было толковать и как образное, как обозначение пусть именно физиологических удовольствий и игр, прежде Ковригиным не испытанных, но по лености его ума и склонности (на первый раз) к стереотипам отнесенное им к явлениям сказочным или дурманным. Однако известно ли ему, Ковригину, подлинно, на что способна в своем воодушевлении (исступлении? животной страсти?) женщина? Откуда? Если и изведена им женщина, даже и при его опыте повесы (или легенде о нем как о повесе), то лишь на толику или на йоту.

«Нет! – пытался убедить и успокоить себя Ковригин. – Всё это было во сне! Или – в дурмане!»

И требовалось дурман истребить. При этом Амазонкин с его бейсболкой, майкой и даже с его знанием отчества фантомной Лоренцы отбрасывался в никуда или хотя бы вписывался в случай дурмана.

Надо заметить (а Ковригин заметил), что, употребляя в мыслях слово «сон», Ковригин ни разу не соединил его со словом «кошмарный». Да и «дурман», похоже, у Ковригина, хотя был ему необъясним и рождал в нем недоумения, не вызывал чувства брезгливости или жути.

Чего не было, того не было. А что было, то было.

И теперь он пытался вспомнить, какой виделась и ощущалась им (во сне ли, в дурмане ли) Лоренца Козимовна.

Отчего он, пусть и спросонья, в разговоре с неудачливым нынче грибником Амазонкиным подумал: «Зеленые поганки!»? Не бледные, не ядовито-голубые, а именно зеленые? Разве гостья была зеленая? Ну да, ресницы, тени на веки наведенные, брови, вроде бы и губы были у неё зелёные. Но разве это нынче редкость или странность? А волосы? Какого цвета у неё были волосы Ковригин не мог теперь установить для себя с определенностью. Ну хоть бы и зелёные! В эти секунды до него дошло, что умственные упражнения свои он производит, стоя в одних трусах. Мозгом тотчас же был отдан приказ, и рука Ковригина оттянула резинку трусов. Нет, никакой зелени на нем не было. «А не наградила ли она меня какой-нибудь хворобой? – подскочило в Ковригине пробившееся бочком соображение. – Не понадобится ли мне теперь анонимное лечение?» Но если бы наградила, следовало бы признать реальность личности Лоренцы Козимовны и её законное выпадение из сна и дурмана. Вспоминалась и ещё всякая чепуха. При одном из жарких прикосновений к ночному телу гостьи Ковригин чуть ли не поинтересовался вслух, как бы в шутку: не соломинкой ли были приданы столь прекраснопышные формы овалам и выпуклостям мускулистой на вид байкерши. Не поинтересовался. Но тут же услышал: «Что это тебе, Сашенька, лезут в голову всякие ерундовины, вызванные комплексами яхромского детства! Соломинки нужны лишь в коктейль-барах. Сейчас я тебя проглочу, вберу в себя всего тебя, и ты застонешь от истомы в поднебесьях!».

«Да что я маюсь! – отругал себя Ковригин. – Надо сейчас же звонить Дувакину и всё разъяснить!»

Но посчитал, что производить звонок редактору культуртрегерского журнала, пребывая лишь в трусах, вышло бы делом невежливым, и натянул на себя спортивный костюм. При этом ощутил, что во рту гадко и необходимо сейчас же почистить зубы и выпить хотя бы стакан горячего чая. А для этого надо отправиться на кухню.

Желтый домик кухни с газовой плитой о две комфорки, шкафчиками для посуды и круп, холодильником, раздвижным столом, покрытым клеёнкой, и гостевым матрасом на деревянных лапах – радость, ресторан, кров полевых и амбарных мышей, стоял под берёзами

у калитки. День был и впрямь июльски-жарким, из кухни же пахло холодом и сыростью, в домик ночью все же, видимо, накапало.

На пустой клеёнке стола Ковригин обнаружил листок бумаги и визитную карточку, отменившие немедленность звонка Дувакину.

Визитка была скромная. Но с золочеными буквами. «Лоренца Козимовна Шинэль. Страница. Знатор искусств. Переводчица с любого языка на доступный. Хозяйка ресторана-дирижабеля „Чудеса в стратосфере“ и коктейль-бара „Девятое дно“». Сообщался и номер некоего факса.

«И не Шинель, отечественная, по версии Амазонкина, – отметил Ковригин. – А Шинэль».

Бумажный листок был исписан утренней (так выходило из нижних чисел) рукой Лоренцы Козимовны.

«Сашенька! Спасибо за всё. Ты был хорош. И я, по моему, не оплошала. И моей отметине пуповины ты отдал должное. У тебя вкус – эстет. То, что я о тебе слышала, подтвердилось. Не в одну лишь ночь, понятно. Но и не во всем. Будить я тебя не стала. Подкрепились перед отбытием. Отыскала на соседнем участке три откормленных улитки – и сыта. Укроп рвала твой. Не обессудь. И вспомни слова: „Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки“. Они – не мои. А великих гуманистов Возрождения. Меня не отгадывай и не разыскивай. И не старайся угадать, в чем был мой интерес к тебе. Я коварная. И растворимая. Быстро растворимая. Твоя Л.»

«Не хватало ещё! – поморщился Ковригин. – Главное – твоя Л.!»

Перевернул листок. Прочитал: «А может, и не совсем коварная. И не пугайся – не твоя. Л.».

Тут и заверещал сотовый телефон.

Ковригин не спешил, понимал: чаю сейчас не выпить. Но зубы почистить следовало. И глотку освежить.

Он не переставал думать о Лоренце и её записке. И загрустил.

«Стало быть, я отдал должное её отметине пуповины. Так... И проявил при этом вкус эстета. Только лишь эстет? Пупок у неё был таинственно-влекущий...» Реальность женского пупка казалась для Ковригина существенной. Лет пять назад одна из его подруг, о размерах и прелестях чьей груди судачила половина просвещённой Москвы, по велениям новейших наук, разыскивала на (или – в) своем теле тридцать четыре эрогенные зоны и выставляла им оценки по двенадцатибалльной системе. Естественно, грудь её получила первое место, а также приз зрительских симпатий. Подругу эту чрезвычайно удивило то, что у Ковригина куда больше эмоций, нежели её грудь, вызывал её же пупок, в тот год для публики закрытый и ещё не окружённый татуировками и пирсингами. Чтобы не обижать подругу, пусть и временную, Ковригин написал тогда пронзительный эпиграммой пупкам, открыв его исследование Пула Земли (в примеры был взят им Дельфийский Омфал), лелеемого во многих культурах и явно имевшего мировой фаллический смысл, особое же место уделен в эпиграммой Пуповине, связывавшей Землю и её тварей с матерью-прародительницей, то есть с женским началом сущего, а потому (это уже для непонятливой подруги) и воспел пупок как свидетельство женского начала (по Лоренце – отметина пуповины), направляющего к лону зарождения жизни грешных путников мужского пола, оплодотворителей, то есть существ вспомогательных, хотя и полагавших, что они пупы Земли, распорядители силы и плодородия. И уверил читателей (подругу – прежде всего) в том, что и пупок женский, и лоно женское у существ, в него проникающих, вызывают чувства вселенского томления, тепла, ласки, даже тоски, но и (хоть на мгновения) слияния со всем сущим и избавления от одиночества. А похоти – в последнюю очередь. Хотя, конечно, для многих проникновение это оказывалось (или казалось) греховно-сладостным входом в дыру преисподней... Сочини-

нение вышло лукавым. Обильно оснащённым случаями мифологическими (были привлечены даже туземцы Западной Австралии с их понятиями о пуповине) и историями из новых времен. Но во многом и искренним. Для тех дней. Впрочем, Ковригин и теперь не стал бы от него отказываться...

Звонил Петр Дмитриевич Дувакин.

– Ковригин! – заторопился Дувакин. – Ты что, спишь, что ли? Почиваешь на лаврах? Я уж часа три жду от тебя звонка. Все бумаги твои получил. И вёрстку. И эссе про Рубенса.

– Я думал, она ещё не доехала... – растерялся Ковригин. – Пробки-то нынче какие! Растеплило ведь...

– Кто она? – спросил Дувакин.

– Сотрудница ваша, – сказал Ковригин, – та, что вёрстку привозила...

– Какая такая сотрудница?

– Как, то есть, какая? – удивился Ковригин. – Лоренца Козимовна Шинэль... Очень своеобразная дама...

– У нас нет таких сотрудниц, – сердито сказал Дувакин.

– А кто же ко мне приезжал с вёрсткой?

– Откуда я знаю! Надо спросить у Марины. Марина её посылала. Курьерша какая-нибудь из агентства.

– Соедини меня с Мариной! – нервно потребовал Ковригин.

– Потом соединю, – сказал Дувакин. – Будет у тебя время полюбезничать с Мариной. А сейчас у меня нет времени. Я ещё вчера прочитал и вёрстку, и эссе...

– Как вчера? – воскликнул Ковригин. – Она... эта ваша сотрудница... или курьерша... отбыла в Москву нынче утром...

– Слушай, Шура, хватит дурачиться! Если бы не твоё эссе про Рубенса, я бы сейчас же прекратил разговор с тобой. Я скуп на похвалы, знаешь сам, но вчера ты меня просто порадовал.

«Какое ещё эссе про Рубенса?» – хотел было спросить Ковригин, но сообразил, что спрашивать Дувакина о чем-либо – себя выставить дураком, а надо слушать его и всё.

– Мне даже захотелось Рубенса твоего поставить в горячий номер. Снять материала три и поставить. Но у тебя двадцать четыре страницы – это много. Столько не снимешь. Да и иллюстрации так срочно не подберешь. В следующий ставлю. Но ты молодец! И опять удачно применил свой метод. Взгляд московского обывателя, вчера – человека с авоськой, нынче – с сумкой на колесиках, простака или будто бы прикидывающегося простачком неразумным, взгляд его на вещи глубинные, обросшие мхом банальностей. Типа: «Подумаешь, Америку открыл!» или «То же мне, Пуп Земли!» Тут простор и свобода для парадоксов, столкновений несовместимостей, озорства. А главное – для просветительства. Да что я талдычу о тебе известном. Хотя о Пупе Дельфийском ты, небось, уже и забыл... И тут вышло. Что многие держат в голове? Рубенс, голые мясистые бабы, Рембрандт, сумасшедший литовец «Данаю» кислотой испоганил... А на самом-то деле... Нет, молодец! И язык хорош. Во второй части, правда, случаются у тебя клочковатости, логические лоскуты, но от этого сочинение становится нервнее, что ли, и трогает больше... Извини, что разболтался. Но ты меня взволновал. Ты чего молчишь-то, Ковригин?

– Да я... это... – принялся бормотать Ковригин. – Ты меня тоже взволновал...

– А вот костяшки твои, пороховницы-натруски, меня все же удивили, – сказал Дувакин. – Своей наукообразностью. Будто ты записной классификатор, вопреки своей доктрине. Но я чувствую, чувствую, вчера я уже говорил тебе об этом, что в статье ты что-то прячешь, хитрец, интерес какой-то собственный, чужие интересы желаешь к нему притянуть. А потом что-нибудь и наковыряешь...

– Посмотрим... – закашлялся вдруг Ковригин.

– Да! – будто бы спохватился Дувакин. – А коробку-то она тебе доставила?

– Вроде бы... – неуверенно сказал Ковригин. – Но я сразу взялся за гранки, коли с пороховницами возникла поспешность...

– Значит, ты материалы, посланные тебе, не просмотрел?

– Нет. Пока нет... – подорвавшим здоровье тружеником заговорил Ковригин, только теперь он вспомнил о картонной коробке, перепоясанной упаковочным скотчем.

И сразу же увидел её. Она стояла под столом, некогда раздвижным, обеденным в московской коммунальной квартире, нынче же скромно-кухонным. Рядом с плетеной корзиной, в какой у Ковригина хранились лук и чеснок. «Ну, слава Богу, – подумал Ковригин. – Здесь она...»

– Коробка у меня под рукой! – чуть ли не с наглостью произнес Ковригин. – Сейчас я ею и займусь. Хотя у меня были и другие намерения.

– Шалопай ты всё же, Шура! – сказал Дувакин. – Займись, займись. И немедленно. А разобрав материалы, обкумекай их. И позвони мне. Скажу лишь предварительно. Интерес – и в письмах к нам, и в разговорах с людьми читающими, – к персонажам, в благостные годы обложенным идеологической ватой и посыпанным нафталином. Начнем с двух дам. Марины Мнишек. И Софьи Романовой. Да, той самой, какую художник Репин изобразил пухлой уродиной, а пролетарский граф вывел ретроградкой и интриганшей...

– Но... – будто бы начал протестовать Ковригин. Но тут же понял, что поводов для протеста у него нет.

– Всё, всё! – строго заявил Дувакин.

– погоди! – вскричал Ковригин. – Ты обещал соединить меня с Мариной!

– Это можно, – сказал Дувакин. – Это пожалуйста!

– Шурчонок! Сан Дреич! – заурчала Марина. – Ты, говорят, шедевры нам прислал. Когда сам-то к нам заявишься? Соскучились. Защекочим!

– Вот пройдут опята. Все соберу и вернусь! – заверил Ковригин. – У меня к тебе вопрос.

– Хоть сто!

– Кто такая Лоренца?

– Какая Лоренца?

– Лоренца Козимовна Шинэль.

– Кто такая Лоренца Козимовна Шинель?

– Это я тебя спрашиваю! – рассердился Ковригин. – Она привозила ко мне вёрстку на вычитку. И коробку от Дувакина. Вчера привезла. Сегодня утром отъехала. На серебристом «лендровере». Сказала, что она сотрудница журнала.

Сразу же вспомнил. Она не говорила, что она сотрудница журнала. Это он спросил: «Вы новая сотрудница?» Она ответила: «Типа того...» Надо было слушать!

– Ну, Шурчонок, ты шалун! – обрадовалась Марина. – Вчера приехала, утром отъехала. И я её понимаю!

– Марин, мне не до шуток.

– Как, ты говоришь, она назвалась?

– Лоренца Козимовна Шинэль, – растягивая гласные произнес Ковригин. – И именно – Шинэль, через «э». Так напечатано на её визитной карточке.

– Сотрудницы у нас такой нет, – сказала Марина. – А посылала я к тебе курьершу-рассыльную из агентства «С толстой сумкой на ремне». Подожди, сейчас я им позвоню, выясню.

Ковригин присел на «гостевой» матрас с ножками, слышал, как Марина переговаривалась с кем-то и как она расхохоталась.

– Сан Дреич! Я тебя обрадую! – не могла успокоиться Марина. – Посылали к тебе курьершу по имени Лариса Кузьевна Сухомятьева. Именно – не Козьминишна и не Казими-

ровна, а – так записано – Кузьевна. Выходит, что у нашей Ларисы родитель – Кузя, Кузька, у того, сам знаешь, какая мать. А Сухомьятева – это как раз в подбор к Ковригину. Я за тебя рада. И никакая она не Шинэль, а Ку-ку. И ты – Ку-ку. И поехала она к тебе не на «лендровере», а на электричке. До утра же она оставалась у тебя в фантазиях. Твои бумаги я приняла от неё вчера.

– А как её найти? – спросил Ковригин.

– Она в агентстве в разряде «одноразовых поручений». Приедешь в Москву, зайдешь к ним, узнаешь, что надо.

– Вряд ли я буду делать это, – сказал Ковригин.

И он дал передых сотовому.

От новостей о курьерше агентства «С толстой сумкой на ремне» и её миссии следовало отвлечься хотя бы на время, и Ковригин поводом для отвлечений выбрал картонную коробку Дувакина. Ленты скотча были сорваны, и Ковригин увидел две стопки книг и репринтов. Быстро перебрал их, в иные и заглянул. Все они так или иначе были связаны с личностями Марины Мнишек, царевны Софьи и её старшего брата, царя Федора Алексеевича. В разговоре Фёдора Алексеевича Дувакин не упомянул, его, как заказчика, интересовали, выходило, лишь две исторические дамы. Одна из присланных книг ни с какого бока ни к Марине, ни к Софье не подходила, а являлась вторым томом худлитовского издания сочинений Аристофана. В неё была вложена записка Дувакина. «Шура! Вот тебе Аристофан, о коем ты просил. Извини, что не мог добыть том из довоенной „Академии“, но и тут названная тобой пьеса дана в переводе А. В. Пиотровского». Ковригин принялся вспоминать, когда это он просил Дувакина об Аристофане, но вспомнить не смог. Во втором томе Аристофана было ужато восемь пьес, одна из них, переведенная А. В. Пиотровским, именовалась – «Лягушки».

Так, так, так. Ещё и «Лягушки»!

То есть да, по приезде в Москву он собирался перечитать Аристофана, в доме тот был, но просить о срочной присылке «Лягушек» Дувакина у него не было ни времени, ни необходимости.

Теперь он вцепился глазами в тексты афинского комедиографа и просидел с ними часа два.

Всё же обижаться на свою память он не мог. И при студенческом прочтении «Лягушек», правда – легкомысленно-предэкзаменационном и скоростном, он так и не понял, при чем там лягушки. И теперь он обнаружил лягушек («лягушек-лебедей», отчего так назвал их Харон?) лишь в одном эпизоде «комической пантомимы». Дионис, отправляясь в ведомство Харона, чтобы устроить там выяснение отношений Эсхила и Еврипида, в лодке с Хароном оказывается никудышным гребцом, и хор лягушек высмеивает и подзадоривает его. Болотных вод дети, естественно, производят звуки: «Брекекекс, коакс, коакс», объявляют Диониса трусом, болтуном, лентяем. По их убеждениям, их пение любят сладостные музы, козлоногий игрец на свирели Пан, форминга Аполлона им вторит. А вот что существенно: «Так мы скачем ярко-солнечными днями меж струй и кувшинок, прорезая тишь веселой переливчатой песней, так пред Зевсовым ненастьем в час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок, лопающихся пузырьков». Лопающиеся пузырьки, след проворных плясок. И далее опять: «Брекекекс, коакс, коакс» (по-эллински, что ли?), и всё.

Потом переварю Аристофана, решил Ковригин, может, обнаружу в этих лопающихся пузырьках иные смыслы.

А вот в недавний мокрый день на шоссе проворных плясок не наблюдалось...

Солнце между тем уходило с участка, и Ковригин спохватился. Надо было поесть, после утреннего, то есть дневного, чая в желудок он ничего не отправил. Сотворять горячее желания не возникло, Ковригин изготовил бутерброды – с колбасой и сыром, открыл банку пива. «Опять ем в сухомятку! – отругал он себя. – Хоть бы суп сварил из концентрата!»

В сухомятку!

Лоренца Козимовна Шинэль.

Лариса Кузьевна Сухомятьева!

Что-то по поводу эпизода с этой Шинэль-Сухомятьевой необходимо было постановить, и сейчас же.

Много случилось в этом эпизоде странностей, но несколько вышло особенных. Прежде всего, что это за эссе про Рубенса, доставленное Дувакину? Позвонить сейчас же Петру Дмитриевичу и сообщить ему, что никакого эссе он не отправлял, эссе недописано, Ковригин не решился: наверняка бы, вспомнив расспросы о Лоренце Козимовне Шинэль, его бы посчитали сбрендившим.

Мимоходом и как бы невзначай Лоренца назвала среди своих знакомых Лёху Чибикова. Дувакин был прав, догадавшись о секрете, упрятанном Ковригиным в статье о костяных пороховницах, и секрет этот был связан, в частности, именно с Лёхой Чибиковым. Гранки же статьи о пороховницах-натрусках доверили курьеру из агентства «С толстой сумкой на ремне»...

Разберемся, пообещал себе Ковригин, надо было успокоиться и во всём разобраться. Впрочем, и не всему стоило искать объяснения. Ни к чему хорошему это бы не привело.

Опять потревожил Ковригина телефон.

Звонила сестра.

Бабье лето продлится, сообщила она, и на выходные с детьми она приедет на дачу.

– Хорошо, – сказал Ковригин.

Хотя ничего хорошего и в этом он теперь не углядел.

Перешел в дом (с пивом) и засел за тексты о Марине Мнишек и царевне Софье...

Нырнув в сон, успел, будто успокаивая себя, примиряя себя с чем-то, подумать: «А ведь был у неё пупок. Был. Как неприкрытая реальность реальной женщины...»

6

Утром Ковригин отправился в лес.

В ельнике, а земля здесь под россыпями желтых иголок оставалась сырой, было душно, Ковригин хотел было стянуть с себя майку, но ожившая мошкара отговорила его сделать это.

Зеленых поганок ему не встречалось. Зато повылезали повсюду мухоморы, и красные, и кремовые с белыми пупырышками, и какие-то неведомые прежде мухоморы-зонты на тонких, чуть ли не в полметра высотой ножках.

Радовали Ковригина сыроежки с зелеными шляпками. Вполне возможно, зеленые сыроежки уже упоминались в этой истории. Никакого отношения к зеленой раскраске Лоренцы Козимовны Шинэль иметь они не могли.

В отличие от сыроежек с красными или желтыми шляпками, зелёные сыроежки были – крепыши и годились в маринад, в засолку и в отвар (на пять минут) для своевременной закуски. Но особо ценились они в семье Ковригиных по семейной традиции для приготовления тушеной картошки. Традиция эта была освоена матерью Ковригина ещё в годы её яхромского детства. Крепыши-сыроежки, а не боровики, предположим, те сберегали для засушки и жарки, именно сыроежки (с добавкой кружочками нарезанного репчатого лука, и если имелась сметана, то и сметаны) заменяли мясо говядины и даже чуть жирной свинины, и созидалась тушёнка ни чуть не менее вкусная, нежели тушёнка мясная. В годы войны, когда вся страна сидела на картошке, по рассказам матери, кушанье это признавалось наипервейшим деликатесом. Ковригин во взрослую пору (режим работ позволял) любил торчать на кухне, научился варить и супы, начиная с борщей и харчо и кончая восемью видами шурпы разных узбекских бекств и эмиратов, при этом импровизировал у плиты, умел тушить и грибную картошку, попробовал однажды добавить в неё дольки свежего чеснока, но только испортил её вкус. А вот лавровый лист и горошек черного перца шли в дело непременно.

Теперь он аккуратно срезал зеленые сыроежки, в уверенности, что нынче у него будет на обед горячее. По опыту знал, что на хорошую кастрюлю понадобится не меньше шестидесяти зелёных шляпок, и когда понял, что наберет грибов и на жарено, и на отвар (попадались и подгрузди – во мху вылезли чернушки, и лисички, и молоденькие подберезовики, и даже белые на ореховой опушке ельника у Леоники, и кофейнофиолетовые поддуплянки), успокоился и снова стал думать о Марине Мнишек и Софье Алексеевне Романовой.

Перебрав по утру дары Дувакина (а вернее, и не дары, а блёсны, крючки с наживками или ещё что там для заглатывания одуревшей и вовсе не от голода, а от любопытства и жадности рыбины), Ковригин понял, что перед ним вовсе не репринты, а хорошие компьютерные «списки» текстов, скачанные с источников дорогим ноутбуком. Со многими этими источниками Ковригин был знаком. В частности, с так называемым «Дневником Марины Мнишек». О других слышал и даже читал выборки из них. Это были переведенные с польского в начале двадцатого века – основательное сочинение ксендза Павла Пирлинга о Дмитрии Самозванце и книга А. Гершберга «Марина Мнишек». Некоторые тексты Ковригину не были известны, их ещё предстояло освоить и переварить. «Если возникнет желание...» – на всякий случай позволил себе посвоевольничать в мыслях Ковригин. Конечно, была вложена в коробку и не раз читанная книга С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве», на взгляд Ковригина, лучшего толкователя столь печального периода русской истории. Из новых публикаций Ковригину предлагалась вышедшая в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей» монография Вячеслава Козлякова «Марина Мнишек». На глянцевого, иначе не скажешь, обложке рядом с глянцевым же портретом красавицы (вся в жемчугах, золоте и дорогих камнях) была изображена башня Коломенского кремля.

С этой башни и возбудился некогда интерес Ковригина к Марине Мнишек.

После третьего курса на практику Ковригина направили в Коломну в городскую газету. Тогда по Москверекке ещё ходили, пусть и плохонькие, теплоходы, и Ковригин доставил себе удовольствие прибыть к окскому берегу речным путем. Из окна гостиницы (в два этажа) ему указали на кремлевские стены, колокольню при базарной церкви и сообщили с особым значением: «А это вот Маринкина башня». Конечно, по всеобщим понятиям, как и по школьным понятиям Ковригина, Мнишек была стерва, самозванка, колдунья и фурия, помимо прочего и страшила (из-за картинок, увиденных Ковригиным в детстве, он посчитал, что хуже этой уродины с бородавкой на носу и быть не может, и только в студенчестве сообразил, что бородавку эту он пересадил на нос Марины с лица Григория Отрепьева). Маринкину башню в Коломне предьявляли чуть ли не с гордостью: здесь злодейка по делам своим маялась в заточении, здесь её по делам же уморили голодом и стужей. То, что Мнишек погибла в ином месте, Ковригин к тому времени уже знал, но в споры с городскими патриотами не вступал. Тем более что в их оценках Марины и её судьбы случались противоречия. Она была своя, коломенская злодейка. Впрочем, злодейка-то злодейкой, но ведь и страдала, а потому вызывала и сочувствие. К страдальцам же русские люди относятся и с чувством вины. Позже, побывав в Угличе и в Тобольске, Ковригин понял, что и там и царевич Дмитрий, и Николай Александрович с семейством – свои, и в принявших их городах люди, не все, естественно, ощущают себя виноватыми перед временными, по неволе, у них поселенцами. Особенно умилительным было отношение в Угличе к сосланному мальчонке, он будто бы гулял ещё где-то недалеко от Теремного дворца на берегу Волги и вот-вот мог быть зарезан по приказу несомненного (для угличан) душегуба Годунова.

А в Коломне один из краеведов и посоветовал Ковригину познакомиться с книгой ксендза Павла Пирлинга (наверняка её, изданную в 1908-ом году, сказал он, можно получить в Москве, в Исторической библиотеке). Тогда он и зачитал практиканту выписанные из книги слова: «По страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав всё это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих её вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие»...

На четвертом курсе, по нынешним его представлениям, Ковригин дурью маялся: пытался писать сценарии и пьесы, были причины, водил шуры-муры со студенточками из театральных вузов. Одна из них теперь Звезда, и именно для неё (или ради неё) Ковригин начал выводить на бумаге диалоги с ремарками. То есть поначалу он намеревался сочинить драму о Дмитрие Самозванце, но, перечитав все пьесы, написанные о нём (и Островского, в частности), понял, что ничего нового не создаст. Да и представления у него о многом, и о Смуте тоже, были самые приблизительные. Стал ходить на интеллектуальные «игры» студенческого общества историков (из пединститутков), часы просиживал в библиотеках и архивах (Университет приучил). Будущая Звезда, прочитав пьесу Ковригина о Марине Мнишек, зафыркала – кому нужна теперь гордая полячка, а влюбленного в неё автора объявила бездарью. Крах, конфуз и печальный конец драматургических опусов. Марина же Мнишек, в пьесе будто бы освещенная, тогда, естественно, опять совместилась в сознании Ковригина с силами, удач не приносящими... Кстати, совсем недавно Звезда «в своих возрастах» сыграла Марину Мнишек в прошумевшей постановке «Бориса Годунова» и, как писали, замечательно и страстно сыграла (что-что, а страсти она всегда играла умело). Но сыграла Марину, придуманную Александром Сергеевичем (гениально снабженная Мусоргским звуком меццо-сопрано, Марина и вовсе превратилась у Фонтана в Самборе в способную растерзать чужую страну светскую тигрицу). На самом же деле в Самборе (Ковригина заносило и в Самбор) Марина была пятнадцатилетняя девчонка, выросшая в европейских комфортах романтическая панночка, не ведавшая о том, что в интригах отца она разменный грош и,

уж конечно, не представлявшая, что такое Московия с её снегами и грязями. Ныне Звезде тридцать пять, и сцене у Фонтана она стала соответствовать...

Самому же Ковригину захотелось сейчас отыскать свое простодушное и неуклюжее творение с диалогами и материалы, собранные им о Марине Мнишек в ту пору. Если они, конечно, сохранились в его московских бумагах.

Что же касается царевны Софьи, то ею Ковригин всерьёз не интересовался.

Материалов о Софье в коробке Дувакина было поменьше «Маринкиных». Да иные из них свидетельствовали и не о ней, а о её старшем брате Федоре Алексеевиче, самодержце всея Великие и Малые и Белые России, володевшим страной шесть лет и умершим двадцатидвухлетним, скорее всего от отравы. Прежде о нем было в ходу мнение как о больном и хилом царе. Теперь же его всё чаще называли человеком «тонкого ума» и реформатором, царствование же его – «потаённым». «Потаённым», надо считать, с помощью усердий учёных людей, возвеличивавших лишь деяния Петра Великого.

Было время: и из-за упрощений, и из-за угоды социальному заказу (или социальной моде?) незбылемым бронзовело представление, из какого исходило: всё у нас началось с Петра. Деяния Петра и впрямь великие, но услужливо-охочие популяризаторы часто «для наглядности» выделяли в них эффекты чуть ли не кинематографические. Или так. И в кино выходило, что Петр Алексеевич вздымал Россию на дыбы с помощью эффектов (опять же школьные впечатления отрока Ковригина). Вот старая Россия. Сплошные бороды. Над бородами – полусонные рожи дураков и лентяев. Под бородами – изношенные зипуны или исподние рубахи. Руки, опять же в волосах, чешут грудь – наверняка искусанную насекомыми. Вот Пётр стрижет бороды. Вот вся Россия побрита. Вот на облегченные головы натянуты парики, и глаза под ними поумнели, стали живыми, в них – желание нечто этакое полезное предпринять. Или сплясать на ассамблеях. Башки стрельцам поотрублены, и в сражения идут brave преображенцы и семеновцы. Впрочем, повсюду остались злыдни и ретрограды, эти ждут не дождутся поворота к старому. И повсюду – классовая борьба. При ней и бандит Разин превращался в героя-освободителя. Ну, и так далее.

Несколько лет назад Ковригина попросили написать о музыке допетровских времен. Было ли что-либо в ту пору, кроме гуслей, дудок, сопелок, домр, рожков, хорового пения? Ковригин и так знал, что «это кроме» было. Однако подробности музыкальных увлечений просвещенных московских особ семнадцатого столетия Ковригина удивили. К тому времени музей Глинки из палат Троекурова в Охотном ряду, запертых чиновничьим забором с милицейскими будками (теперь это забор Думы), был вытеснен на тверские-ямские, там к архивным изысканиям Ковригин был допущен. Хороши по информации оказались первые тома «Истории русской музыки» со статьями Ю. В. Келдыша. Интересные попадались Ковригину и публикации. В частности, исследование В. Протопопова «Нотная библиотека царя Федора Алексеевича». «Список» с неё, кстати, был прислан теперь и Дувакиным. Брат Петра был ещё и композитором. А в московских каменных палатах имелись доставленные от известных мастеров инструменты, собраниями которых не обладали и богатые меломаны в Лондоне или в Берлине. Не только имелись, но, понятно, и звучали. И не носили хозяева палат, важные деятели государства, бород, а были в курсе моднейших европейских новинок. В их числе и князь Василий Васильевич Голицын, первейший друг и советник царевны Софьи, оценить чью натуру и был призван теперь Ковригин.

Почитаем, почитаем, обещал себе Ковригин, и про Софью, и про Федора Алексеевича. И про Алексея Михайловича, о котором в школе Ковригину было втемяшено, что при нём во мраке российской жизни главным образом происходили бунты, то Соляной, то Медный, то всенародно-освободительный Стеньки Разина. Бунташный, мракобесный век... На самом же деле Россия тем временем деятельно и разумно подбиралась, пусть и не спеша, к решительному закреплению перемен в ней Петром Великим. Слова «почитаем» относились опять

же к посылке Дувакина. Больше всего в ней было работ современного историка Андрея Богданова, среди них и книга – «В тени великого Петра». Пролистав их, Ковригин понял, что о Софье ему придется добывать знания в Москве. Станным образом Ковригин чувствовал себя виноватым перед Софьей и её временем. Года четыре назад при разборке жилого здания в Староваганьковском переулке возле Румянцевского дома были открыты палаты семнадцатого века, по убеждению историков, принадлежавшие Шакловитому, одному из близких Софье людей (в трагической ситуации она его предала, или хотя бы – «сдала»). Сохранить палаты было нелегко, началась тяжба, Ковригин загорелся, намерен был лезть со знаменем на баррикады (полотно Делакруа!), но, как это случалось с ним не раз, остыл, увлекся другим занятием («и без меня защитников хватит!»), а потом услышал, что палаты Шакловитого снесли. Софья же наверняка бывала в них. Не исключено, что пробиралась туда из Кремля при свете факела подземным ходом. Как пробиралась на свидания и в палаты Василия Голицына в Охотном ряду (теперь на их месте – опять же Дума, вот ведь игры времен!)...

Соппротивление просьбам и уловкам Дувакина ворчал в Ковригине. Но он понимал, что ходит уже кругами вблизи дувакинской блесны. Произошедшее давно становилось необходимым Ковригину сейчас. Прошлого нет и нет будущего, полагал Ковригин. Они слиты в «сейчас». Есть только «сейчас». И есть волшебное свойство человека оживлять душой исчезнувших давно людей и вступать в их жизнь. Нужда в этом всегда жила в Ковригине. Так было и в прежних случаях (с Колумбом, например, с Монтесумой и Кортесом в одном американском сюжете), а теперь – и с Рубенсом, Ковригину требовалось воображением чуть ли не поселяться в натурах своих персонажей, в их телах и даже в их костюмах. Это волновало его и доставляло ему, пожалуй, будто бы физическое удовольствие («Типа того», – сказала бы Лоренца). Ради понимания Марины Мнишек и царевны Софьи следовало «оживить» и их. Хотя, понятно, что и мыслями очутиться в их телах вышло бы для Ковригина делом затруднительным. Но побыть вблизи них, отгадывая их чувства, мотивы их действий, физиологические особенности их натур, для Ковригина становилось теперь занятием-состоянием обязательным, это занятие уже увлекало его, вот он – да, он! – стараясь быть незамеченным и не услышанным, озираясь, кирпичным, обложенным белым камнем, ходом, передвигался сначала под Неглинкой, потом под мшистыми берегами её, а метрах в пятидесяти впереди при колеблющемся свете факела шла властная женщина, спешила из кремлевских покоев к кому-то из близких мужчин своих – Голицыну или Шакловитому, страсть и государственные дела гнали её...

«Всё! Остынь! Угомонись! – приказал себе Ковригин. – Ты уже начинаешь пропускать чернушки, они сливаются для тебя с корнями елей...»

Но он не мог отогнать мысль о том, что в названных Дувакиным именах и присланных книгах (а может, иные из них в коробку вложила Лоренца? Нет! Нет! Чур её!) отправлен ему знак. Отчего вдруг объединялись в одном заказе дочь сandomирского воеводы, ложно обозванная царицей Смуты, и неудачливая царевна Предпетровья, вынужденная, по московской легенде, наблюдать по ночам сквозь слюдяные оконца монастыря привидения князя Хованского и его сына с отрубленными головами в руках, по её велению погубленных? И драмы той и другой женщины расположились в одном веке... Что-то было в пожелании Дувакина, было! Предчувствие теребило теперь Ковригина, азарт исследователя разжигая в нём.

Секретец статьи о костяных пороховницах, учуянный Дувакиным, состоял вот в чем. С Лёхой Чибиковым Ковригин познакомился на Чукотке. После Горного института Чибиков геологом искал золото и прочие клады недр под Билибиным и Кадыкчаном. В его поисковую партию, естественно, подряжались бичи и уголовники, с некоторыми из них он сталкивался и теперь. В длинном корявом парне, в ватнике или тулупе, не наблюдалось ничего аристократического, манерами и способами выражений и он был похож на бича, тем не менее окликали его Графом. Чибиков и был графом. То есть сам Лёха графом себя не считал и по

возвращении в Москву (нынче он сытно обитал в Газпроме) ни в какие дворянские собрания не записывался и не являлся. Но происходил он истинно из рода Чибиковых, предок его, знаменитый граф Чибилов, вёл войну с Пугачёвым, доверив доставку злодея в Москву молодому офицеру Суворову (что засвидетельствовано на известной картине Татьяны Назаренко, знакомой Ковригина). А Чибиловы были в родстве с Голицыными. Опять же Ковригин имел беседы с великим художником Илларионом Голицыным, нелепо погибшим, в частности и о фамильной реликвии петровских времен, парном портрете супругов Голицыных работы Матвеева. В семье Голицыных бытовали и не легенды вовсе, а достоверные предания и сведения и о воеводе Ивана Грозного, поставившем крепость Свияжск, без которой могло бы и не состояться взятие Казани, и об образованнейшем князе Василии Васильевиче Голицыне (тому бы ещё и силу характера), а вместе с ним, понятно, и о царевне Софье...

Так вот. Выяснилось и стало известно Ковригину, что мать Лёхи Чибилова сберегала некий костяной предмет, которым интересовалась Оружейная палата. Эксперты были убеждены, что это работа нюрнбергских мастеров, современников Дюрера. Предмет не был ни продан, ни подарен. Остался в семье. Сейчас владела им старшая сестра Лёхи Чибилова – Зинаида Михайловна Половцева. По убеждениям тех же экспертов, изделие германских косторезов попало в Россию давно, а не было завезено, скажем, в восемнадцатом веке и уж тем более в веке девятнадцатом. Стало быть, имело долгую московскую или даже московитскую историю и служило, пока неразгадано чем, но наверняка людям с интереснейшими судьбами. Завладеть условно названной костяной пороховницей Ковригин не собирався, такого и в мыслях его не могло возникнуть. Чужие вещи с чужой энергетикой были для него именно опасно-чужие. Принимать на себя обстоятельства жизни незнакомых ему людей с их радостями или страданиями Ковригин не желал. Упаси Боже! А потому не годился в коллекционеры.

Лёха Чибилов познакомил Ковригина с сестрой, Зинаидой Михайловной, и Ковригин подержал «костяшку» в руках. Другие фамильные реликвии не были ему открыты. Сестра Чибилова глядела на него с опаской, возможно, и Лёхе было выговорено неодобрение за допуск им в дом сомнительного изыскателя.

Ковригин, будто был приглашенный знаток и оценщик, вслух согласился с тем, что перед ними именно пороховница-натруска, хотя засомневался в смысле и предназначении исторической вещицы. Вид она имела небольшого рожка или, скажем, рогалика из слоновой кости, северороссийские же «рогалики» натруски были полыми моржовыми клыками. Сомнения Ковригина вызвали сюжеты рельефных фриз на боках чибиловской предполагаемой пороховницы. Чаще всего резчики создавали на натрусках сцены охотничьи, со зверями и зверушками – медведями, кабанами, зайцами, со всадниками, мчащимися за оленями, пешими удалцами, копьями протыкающими шкуры вепрей. Концы же рожков, наших, северорусских, обычно завершались острыми мордами морских чудовищ. Доводилось Ковригину видеть и другие сюжеты. На одном из боков эрмитажной натруски над четырьмя сердцами летал амур с известным луком, внизу же было выведено «Одного мне довольно». На «обороте», то есть на другом костяном боку, амур с сердцем удирал от гидры многоглавой, что подтверждалось надписью: «Никто у меня не отнимет!» Реликвия Чибиловых завершалась не морским чудовищем, а довольно изящной фигуркой незлобного единорога. Ну, это понятно. Откуда в Нюрнберге знать о моржах из ледовитых вод? А на боках реликвии Ковригин углядел сцены из рыцарского романа – дракон окаянный лапы с когтями протягивал к упавшей, видимо, в обморок красавице явно в европейском наряде, но к дракону уже спешил рыцарь, обнаживший меч (в пороховнице у него вряд ли была нужда). Вдали виделся замок на скале, а у бокового ребра декоративными клеймами были вырезаны маскароны с завитками листьев. Под фризами имелись надписи, разобрать их как следует Ковригин не смог, явился в гости без лупы. И всё же он обнаружил в трёх местах реликвии слова и

знаки, выцарапанные явно не рукой первоначального мастера, то ли чьи-то инициалы, то ли пометы, будто бы на полях читанной заинтересованным человеком рукописи. Ковригин взволновался, погладил пальцами рыцаря с мечом и произнес:

– Надо бы показать знакомым палеографам... Или графологам... Тут явно разные годы и разные люди...

Слова его вызвали резкие действия Зинаиды Михайловны. Она подскочила к Ковригину, вырвала из его рук костяной предмет, заговорила нервно:

– Никому не положено ни рассматривать, ни выносить из нашего дома! И Алексей это прекрасно знает. Но для него смешны семейные традиции и предания. Ему достаточно в жизни веселий, бродячества в диких местах и забав с аквалангами и водяными досками.

Высказав это, Зинаида Михайловна удалилась из комнаты и более в ней не появлялась. Ковригин сидел растерянный. И Лёха Чибилов, похоже, растерялся.

– А с какими такими преданиями связана эта вещь? – спросил, наконец, Ковригин.

– С какими-то бабскими историями! – махнул рукой Чибилов. – Всерьез ко всему этому относиться не стоит. Если спрошу что-нибудь ненароком, расскажу. Но наверняка какая-нибудь напудренная ерунда!

Но Ковригин был уже уверен, что это вовсе не ерунда и что с рыцарскими сюжетами на костяных боках связаны истории женщины, а может, и не одной женщины, и истории эти вряд ли веселые.

Однако ему-то они зачем?

Кто бы знал...

Другое дело, что он напрасно притягивает теперь к костяной якобы пороховнице из частного собрания заказы Пети Дувакина и журнала «Под руку с Клио». Тем более что уговорил себя терпеливо ожидать откликов (хотя бы одного) на публикацию статьи об особенном направлении в искусстве косторезов, вдруг и впрямь возникнет подсказка, клубок серых ниток станет разматываться и потащит его, Ковригина, к совершенно непредвиденной им ситуации... А тут на тебе! Сразу – будто бы знак и посыл интуиции к заманным именам, к царице и царевне московским, мол, верь знакам и интуиции, и не плохо бы, чтобы две женщины, для управления государством – преждевременные, а потому и обреченные, каким-либо чудом оказались в одной событийной цепи. Тут, милостивый государь Александр Андреевич Ковригин, скорее всего, возникли бы банальности и упрощения, а вы их вроде бы ох как не любите...

И в том, что экстрим-дама Лоренца Козимовна, она же Лариса Кузьевна, с бабушкой – Кузькиной матерью, курьер с толстой сумкой на ремне, называла мельком, но как бы и со значением, среди общих с Ковригиным знакомых Лёху Чибилова, не следовало искать особого смысла. А почему бы ей и вправду не быть знакомой графа Чибилова с Большой Дмитровки?

И всё же Ковригин никак не мог избавиться от убеждения, вполне возможно – неразумно-прилипшего, в том, что костяная реликвия семьи Чибиловых (а явно имелись и другие реликвии) непременно была связана с судьбами именно женщин, неважно каких и неважно каких фамилий. Очень может быть, поначалу она и впрямь служила пороховницей, порох в ней не подмокал, и его было удобно из её рожка ссыпать, стряхивать, трусить охотникам, какие потом пировали под сводами замков, разрывая руками (как в костюмных фильмах) мясо кабанов и косуль, только что снятых с раскаленных вертелов. Но добывали дичь ведь и знатные охотницы, и они обзаводились пороховницами. При мыслях об этом Ковригин жалел о своем приблизительном знании огнестрельного оружия (при каких именно «стволах» и были нужны пороховницы и когда в них отпала нужда?), давал себе слово заглянуть в серьезные монографии, но пока не случалось повода заглянуть. А позже, и это Ковригину было известно точно, ценящие себя дамы появлялись на светских развлечениях, украсив

свои костюмы пороховницами на подвесках (или ещё на что там? надо выяснить) – и модно, и подтверждалась репутация прекрасной амазонки. У Софьи, предположим, в её теремной жизни, но выходит, что и тюремной, – а ведь вне Кремля имела и просторные и прекрасные дворцы на Воробьевых горах и в Измайлове, – таких развлечений не было, но на свидания-то с тем же Голицыным (безбородым, безбородым! Именно со своим просвещенным братом Федором Алексеевичем Софья вводила линейные ноты, допускала европейское платье, но что ей самой дала реформа одежды?) могла прийти и с украшениями (опять – Софья в мыслях! Опять – банальность!). Естественно, в костяных рожках была возможность вместо пороха уместить и пудру, например, или ещё что-то от тогдашних Роше, и блошинные ловушки, и мушки для любовных сигналов и игр, и, уж конечно, нюхательный табак для изведения дурных ароматов на душных балах. Или укрывать в них лирические записки или какие-либо орудия страстей и интриг. Пороховницы...

7

Показать бы надписи на боках чибииковской (а может, и голицынской) реликвии и процарапанные (резцом ли или ещё чем) инициалы (?) и пометы палеографам... Каким макаром? Если только уговорить Лёху Чибиикова снять хотя бы и сотовым телефоном бока и ребро реликвии, да и незлобного единорога. Но Лёха – человек своенравный, ему ничего не стоит и заартачиться...

В ельнике вблизи Ковригина возникла компания грибников с собакой. Собака лаем сейчас же вернула Ковригина с Петровских ассамблей или с Польского акта царской оперы Михаила Ивановича Глинки к суглинкам урочища Зыкеево. У Ковригина спросили, не пошли ли осенние опята. Нет, отвечал Ковригин, опят он не видел, да и откуда им быть при таких-то теплых ночах. К тому же в ельнике осенних опят бывает мало, это место летних, рыжих опят, говорушек, а за осенними ходят за овраг на вырубки в дубняках и липах.

За овраг компания и унесла собачий лай.

Ковригин за овраг не отправился – и грибов он уже набрал, и вспомнил, как на днях провалился в овраг в неведомо откуда взявшуюся яму с поломанными досками в ней и чудом не повредил ноги. К тому же его напугал пронесшийся мимо него человек. Напугал, правда, не надолго, но вынудил остановиться и застыть в недоумении. Скорее это был и не человек, а существо, похожее на человека. Грибы прохожий (пробежавший) явно не имел в виду, не было при нём ни корзины, ни пакета, ни ведерка. Почти голый, мускулистый, звероподобный, он снабдил себя лишь набедренным одеянием из меха, возможно, волчьего. Лобастая голова его была в жестких мелких кудряшках, будто бы от горных баранов. Поначалу Ковригин подумал, потому и напугался на мгновение, что это клиент сумасшедшего дома в Троицком, одолевший бетонные стены и пустившийся в бега. Но потом – спина бегуна была уже метрах в тридцати от Ковригина – он сообразил, что ноги существа – в рыжей шерсти, а копыта у него – козлиные. Козлоногий... Пан, что ли? Фавн? Сатир? Силен? И стало быть, испуг его был и не испуг, а, как и предполагается, – страх панический? Ковригин рассмеялся. Откуда здесь Паны или Силены? Но сейчас же подумал, что смеяться нечему. Ему стало казаться, что в левой руке лохматого бегуна он увидел свирель, возможно, и двойную. Не из тела ли несчастно-влюблённой нимфы Свиринги сотворённую? Фу ты! Какая бредятина лезет в голову... Но прежде, чем скрыться в ореховых зарослях, существо обернулось, пригрозило Ковригину волосатым пальцем и выругалось матом.

И это Ковригина успокоило.

Конечно, – беглец из Троицкого дурдома, псих на сексуальной почве, начитанный, знакомый с античной мифологией, возмнивший себя Паном, хорошо хоть не Приапом, а энергетика у психов такая, что возможны метаморфозы с их обликами и костюмами, посчитал бы себя Наполеоном, пронесся бы сейчас мимо Ковригина в треуголке, с барабаном и подозрительной трубой...

К возвращению в реалии повседневной жизни Ковригина призывало и верещание телефона. Напоминала о себе сестра, Антонина. Было объявлено. Прибудет она в субботу, но не в обед, а утром. Детишки её вынуждены по школьной программе автобусами отправиться в Большие Вязёмы на поклон к Сашеньке Пушкину («Оно и к лучшему», – пришло в голову Ковригину). Но прибудет она не одна. Тут возникла пауза. Далее не последовало разъяснения, кто же будет спутником Антонины, – хахаль ли её какой, или серьёзный ухажер, либо – приятельница, эта, не исключалось, с прищуром глаз на него, Ковригина, непристроенного холостяка. Антонина лишь выразила братцу надежду на то, что всё на даче будет в чистоте и порядке и он не расстроит её каким-либо бардаком. Сказала, что перезвонит завтра, а он пусть подготовит список заказов, что ей надо купить ему из провизии и напитков.

Ковригин, ещё выходя в лес, наметил себе вечером пересмотреть свои бумаги, связанные с Рубенсом. И если даже обнаружатся какие-либо следы интересов или усердий Лоренцы, не вскрикивать и бумаги эти не рвать. Но, как всегда, занятия с грибами (на ночь в холодильник грибы в семье никогда не убирали, готовить их «только что из леса» было законом) и в особенности тушение картошки с зелеными сыроежками и сметаной удержало его на кухне до темноты. Он почувствовал, что устал. Ко всему прочему он объелся. Три полных тарелки горячего блюда было без задержек отправлено в чрево толкователя судьбы дипломата и разведчика Пауля Рубенса и его полнотелых красавиц. Ковригин подавил в себе икоту способом пловчихи кролем. Но зевать не перестал.

Уже под одеялом (но на террасе) вспомнил о своём соображении в ельнике. Детишки не придут. «Оно и к лучшему...» Почему он так подумал?

А потому, что детишки не станут свидетелями или даже участниками какой-либо странности.

Какой странности?

А неизвестно какой!

Две или три странности здесь уже случились в последние дни.

Или даже четыре.

Какая же четвертая-то?

А бегун-то этот лохматый в ельнике со свирелью в руке и козлоногий? Может, он и не такой уж псих. Ну, выругался матом – и что? Раз даже негру преклонных годов было рекомендовано пролетарским поэтом выучить русский язык, то почему бы и хитрозадому эллину по необходимости жизни не освоить деликатнообязательные выражения лесов, полей и пастбищ среднерусской равнины? Тем более вблизи обитания страшного Зыкея...

Такие вот соображения посетили в зевотные минуты Ковригина.

А вот, подумал он, ухажёр Антонины или её незваная приятельница, из привычных либо новейшая, это – пожалуйста. Этим странности, по рассуждениям Ковригина, не помешали бы. Экий он был заранее кровожадный!

Но опять вместо ожидаемых Ковригиным грибов в его предсонной дремоте возникли лягушки, их были сотни, они ползли, ползли, прыгали, карабкались, но теперь и пели, явно пели и, видимо, по-аристофановски в переводе А. В. Пиотровского: «Брекекекс, коакс, коакс! В час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. Брекекекс, коакс, коакс!»

«Чур меня! Чур меня! – пробормотал Ковригин. – Это я объелся...» И повернулся на правый бок.

8

Утренний просмотр (на голодный желудок! на голодный!) бумаг и материалов, связанных с написанием им эссе о Пауле Рубенсе, то есть якобы простодушно-обывательским рассмотрением обстоятельств жизни великого художника с упрятанными в видимых смыслах восклицаниями типа: «Надо же!», «А мне и в голову не могло такое прийти!», Ковригина отчасти успокоил.

Многое он успел сделать. Если не всё.

Застрял со второй частью эссе, это да. По лености (считал себя неисправивым и бесстыжим лентяем). И из-за досады на Дувакина. Что он будет спешить с Рубенсом, коли случился затор с пороховницами, и Петр Дмитриевич неизвестно как теперь к нему относится. В искусстве и литературе бытовало понятие, не Ковригиным придуманное, – «нерожденное дитя». У раннего Павла Кузнецова этих нерожденных дитятей хватало. Для Ковригина понятие это существовало в ином, можно было даже признать, – ремесленном смысле. «Нерожденными детьми» были для Ковригина его неопубликованные работы. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри Ковригина, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений. Ковригин мог только предположить, как тягостно было жить литераторам или, скажем, композиторам середины и конца двадцатого столетия, чьи опусы лежали в столах, терпели, перенося родовые схватки, без надежды попасть под опеку доброжелательных акушеров.

Теперь Ковригин снова обзывал себя лентяем, безответственным нытиком, в оправдание себе вспомнившим теорию о «нерожденных дитятах» и губительных родовых схватках, нынче вызванных якобы произволом субъективиста Дувакина. Стоило ли ныть-то? Сочинение его о Рубенсе было уже сотворено. В разговоре («лекции») с Лоренцой, обозвавшей его халтурщиком, он держал его в голове целиком – ощутил это! Больше половины его шариковой ручкой было выведено на бумажных листах, другая, меньшая часть, обрывками записанная на клочках разных цветов, варилась в голове Ковригина и, пожалуй, дошла до степени готовности, блюдо вот-вот, с пылу с жару, следовало подавать на стол. Не стал подавать. Пусть он, Дувакин, напомним и попросит. Попросил бы, тогда Ковригин за день-за два свел бы всё уже написанное – лохмотья на обрывках, мысли и образы в голове – в единый текст, выправил бы его и преподнес бы приятелю и мучителю (хотя каждый издатель и вынужден быть мучителем) Петру Дмитриевичу. Но проявил фанаберию.

Однако какой текст получил Дувакин? Если он вообще его получил...

День назад, если помните, Ковригин, как порядочный литератор, пекущийся о собственной чести, чутьчуть успокоившись, намерен был (пусть и не слишком решительно) перезвонить Дувакину и объявить, что никакого эссе о Рубенсе он ещё не написал, а текст в журнал попал самозванный и его надо подвергнуть остракизму (эко завернул бы!).

Не позвонил...

И теперь он заробел снова. Дувакин якобы намеревался обсудить с ним темы, связанные с Мариной Мнишек и Софьей Алексеевной. Но не обсудил, звонков не произвел. А вдруг он и никаких книг Ковригину не присылал, и не было никакой курьерши, и никакие соображения о Рубенсе московского обывателя Дувакина не порадовали, а всё это входило в «Брекекекс, коакс, коакс», в лопающиеся пузырьки, ставшие следами проворных плясок часа дождливого в глуби водной, и прочие влажные странности Урочища Зыкеево?

Впрочем (или кстати), пришло в голову Ковригину: а ведь ни одной виноградной улитки ни у него на участке, ни поблизости на глаза ему не попало...

Нет, в любом случае надо было звонить Дувакину и, ни о чем не напоминая, а сообщив ему о том, что эссе о Рубенсе готово, поинтересоваться, надобно ли оно журналу и, если надобно, когда и с какой оказией отправить текст в Москву.

Услышав дачный голос Ковригина, Дувакин принялся извиняться:

– Запарка! Запарка! Помнил, помнил... Самому интересно было бы обсудить с тобой... Но производственная суета... И сегодня, извини, не позвонил бы... Вот только что ко мне заходила Сафарина... Подбирает иллюстрации к твоему Рубенсу...

Сафарина была художественным редактором журнала. Слова о ней снимали сомнения Ковригина. Текст о Рубенсе в журнале имелся, курьерша, стало быть, к нему на дачу приезжала. И картонная коробка была отправлена к нему Дувакиным.

– Молодец! Молодец! – сказал Дувакин. И далее до Ковригина донеслось: – Спасибо, Марина, это кстати... и чай, и бутерброды... И ты, Шура, молодец...

– А эпизод с «Ледой и лебедем» тебе не показался лишним? – осторожно спросил Ковригин.

Эпизод с «Ледой и лебедем» не был выдавлен Ковригиным на бумагу, а существовал до позавчерашнего дня лишь в лениво-плавающих его мыслях.

– Нет! Нет! Что ты! – воодушевился Дувакин, впрочем, воодушевление его могло быть вызвано отменным вкусом колбасы, доставленной ему Мариной. – И твои соображения о судьбе Дрезденской галереи вполне уместны...

Выходит, что и Леда с лебедем опустились с высот Ковригинского воображения на плоскости производственных форм и поплыли к наборным устройствам.

– Это приятно, это приятно, а то я волновался, – сказал Ковригин. Он сидел важный, будто незабвенный Ильинский-Бывалов на палубе парохода «Севрюга» при исполнении подотчетным ему оркестром счетоводов музыки Шуберта.

Подносивший ко рту, можно было предположить, стакан с чаем («два куса сахара») Дувакин продолжал вперемежку с глотками произносить комплименты работе Ковригина, Ковригин в них не вслушивался, к нему опять пришли сомнения. А не отправиться всё же в Москву и не отозвать ли эссе на доработку («требовательность взыграла»)? Мало ли какие сюрпризы могут через месяц выскочить в свет за его подписью, не окажется ли он посмешищем или урной для ехидных плевков? Нет, решил, пусть всё идет как идет, озорство шебутило его, даже если в эссе будет нагромождена удивительная чушь, учёные люди со званиями, приученные к церемониалам академического общения, до базарных перебранок не снизойдут, а и очевидную чушь обсудят с уважительной корректностью и, может, обнаружат в ней смелые, пусть и рискованные гипотезы. А по прошествии времени публикацию и вовсе можно будет объявить мистификацией (хотя бы вызванной спором). И случится потеха. Приятная (ясно, что не для Пети Дувакина, но, может, и для него), а уж для Ковригина-то – несомненная потеха. Из тех, что потом помнятся и даже исследуются, с разбором тайн, серьезными людьми в толстенных томах. Типа «Памятники культуры. Новые открытия».

Позже, когда разговор с Дувакиным был окончен, Ковригина будто подняло с места и притянуло на кухню. Там, на полке у окна, он нашел записку и визитную карточку Лоренцы дочери Козимо, бывшей супруги мужчины (для кого-то значительного) по фамилии Шинэль. Именно нашел. Он-то надеялся, что никаких записок и визиток в его саду уже нет. Как нет виноградных улиток. Не скажу, чтобы находка обрадовала его. Хотя, что в ней было удивительного? Однако беспокойство и душевный неполад сразу же возобновились в Ковригине. На кой ляд ему эта записка? Но опять же без раздумий и опасок он на обороте записки (а карандаши и ручки валялись у него и на кухне) после слов курьерши: «И не пугайся – совсем не твоя Л.» вывел, как ему показалось, повелительно: «Спасибо за усердие. Но прошу более не оказывать мне услуг. И не влезать в мои дела. Всё, что есть во мне, – моё. И за всё моё должен отвечать я». Бумага не сразу, но стала корежиться со скрипами и тресками, чуть ли

не насмешка почудилась в них Ковригину, а потом ниже его строчек начали возникать слова, будто бы рождаемые «секретными» (и тут же как бы сразу же «высыхающими») чернилами: «Слушаю и повинуюсь. Извините. Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки».

Ковригин стоял растерянный. Панический пришел к нему страх или не панический, не имело значения.

«Чур меня!» – пробормотал он и перекрестил бумагу, не сознавая, бессмысленен ли его жест или в нем есть необходимость.

«Сейчас мы посмотрим, какие это секретные, несгораемые чернила!» – и он шагнул к газовой плите. Зажег конфорку и поднёс к огню записку Лоренцы. Пепел опал на эмалированный поддон плиты.

Совершенно лишняя дернулась мысль: это в книжках о революционерах чернила проступивших над огнём слов отчего-то именовались несгораемыми, а ведь было у них иное название...

Визитку же Ковригин сжигать неизвестно почему не стал. При этом обратил внимание на одно слово. Оно следовало сразу за именем с фамилией. Маркиза. Прежде его вроде бы не было. А впрочем, не все ли равно – было или не было. Маркиза, и пусть маркиза. В последние годы у нас в стране появилось много баронесс. Даже и среди баскетболисток. А вот с маркизами Ковригин не сталкивался. Хотя маркизу Лоренцу Шинэль удобнее было посчитать существом эфемерным. Но продолжать переписку с существом эфемерным нельзя было никоим образом. «Свечки, что ли, надо бы поставить где-то... – размышлял Ковригин. – Или заклинание, хоть бы и мысленное, сочинить на избавление от дирижабельных маркиз?..»

Но действия с бумагами Лоренцы, повторяюсь, произошли после разговора с Дувакиным. А Ковригин с Петром Дмитриевичем успели ещё порассуждать по поводу Мнишек и Софьи и о том, какие погоды ждут москвичей в выходные дни. Естественно, верить прогнозам, больше болтавшим теперь о лекарствах, нежели о небесных явлениях и столбах давления, было дурным тоном, и всё же, по сведениям Дувакина, вся Москва в выходные решила ехать в леса и сады. Вот пробки-то встанут...

Снова позвонил Дувакин.

– Грибы у вас есть? – спросил, хотя знал от Ковригина, что да, есть.

– Есть...

– Действительно, как им не быть, если тифлисские Мальбруки собираются в походы, – сказал Дувакин.

Ковригин молчал, подбирая слова, какие смягчили бы досаду Дувакина.

– Антонина собралась приехать в субботу утром, – сказал Ковригин.

– С детьми? – спросил Дувакин.

– В том-то и дело, что и без племянников, – выразил своё неудовольствие Ковригин.

– Одна?

– И не одна! А с кем, не сочла нужным сообщить! – воскликнул Ковригин.

Чуть было не добавил: «Если с мужиком, ещё куда бы ни шло, а то ведь возьмет да и припрётся с какой-нибудь бабой!» – но сообразил, что словами своими всерьёз расстроит приятеля.

– Меня Стоцкий зазывал к себе на яблоки и шашлыки. И грибами заманивал, – помолчав, произнёс Дувакин. – К нему, пожалуй, и съезжу. С ночёвкой...

– Подожди, – сказал Ковригин, – я сейчас позвоню Антонине, узнаю точно, с кем она явится...

– Не надо, – сухо сказал Дувакин. – Не надо... У тебя и переночевать негде! А у Стоцкого комфорта...

Обрывать разговор при возникшей неловкости вышло бы нескладно, и приятели ещё минуты три посудачили о Мнишек и Софье.

– Есть опасность, – сказал Ковригин, – хочу ли я этого или не хочу, оказаться слугой тенденции. Раньше мы глядели на этих дам эдак, а теперь посчитали нужным оценить их иначе. Свежий взгляд, да ещё и с ехидными укорами в адрес прежних жрецов, эго подстраивались и ввали-то, заманчив и для публики, и для автора, но и он может привести к упрощениям и спекуляции.

– Во-первых, ты ещё в студенческие годы, – взволновался Дувакин, – в пьесе своей о Марине Мнишек принялся спорить со всеми, мол, чего вы к ней привязались, стервой её вынудили стать взрослые интриганы, да и стервой ли...

– Это была любовь, – выпалил Ковригин, – безрассудная и неразделённая, к девушке с вишнёвыми глазами, её я написал, а не Марину Мнишек. А она, девушка эта, назвала меня дураком и бездарью...

– Ты встречаешь её иногда? – спросил Дувакин.

– Случается... – пробурчал Ковригин. – Ладно, у меня сейчас телефон сядет.

Замолчали. И более не говорили ни про любовь, ни про грибы...

«Бедняга Дувакин... – подумал Ковригин. – Сколько лет морочит ему Антонина голову...» С собой он был недоволен, не следовало мимоходом, но и с горячностью вспомнить о девушке с вишнёвыми глазами. Дувакин прекрасно знал историю его юношеской пьесы. Ковригин вбил тогда себе в голову, что выше театра и кинематографа ничего нет. А после сидений в студенческом кружке историков, удивившись обстоятельствам жизни причисленной к злым и ведьмам дочери сандомирского воеводы, ощутил к ней чувство сострадания и чуть ли не влюбился в неё... Да, чувствительный и с воображением был выюнош! Но в реальности-то он влюбился в студентку-щепкинку Натали Свиридову. Этак всё сошлось! Ковригин, может, и пьесу о Марине Мнишек не стал бы сочинять, но в мечтаниях о благорасположении Натали Свиридовой обнаглел и за полтора месяца наколотил на машинке одной из кузин пьесу и преподнес её (с посвящением) чудесной Натали: мол, для тебя и про тебя. Свиридова скорее всего, пьесу лишь пролистала, но наложила резолюцию: «Ты, Ковригин, ушастый дурак и бездарь! Пьес больше не пиши, а от меня отстань!» Пьес Ковригин более не писал, к тому же на пятом, дипломном, курсе было уже не до пьес и сценариев. Сейчас же к кино он относился с высокомерием (освоило приемы в тридцатых и послевоенных годах, толчется на месте, куда поверхностнее и легчевеснее в познании человека, нежели музыка, литература и живопись), в театры ходил редко, иногда лишь в должности необходимого кавалера или по приглашению приятелей-лицедеев, не тянуло – там скучно процветали провинциальные (по духу и уровню) завоеватели типа Жолдака, в упражнениях коих не было актеров и смыслов. А вот на «Бориса Годунова» сходил, там у Фонтана блистала всенародная Наталья Свиридова.

Бедняга Дувакин беднягой, а подсунил ему, Ковригину, Марину Мнишек и вызвал хоровод призраков, печалей и юношеских комплексов.

Впрочем, и сам Дувакин сидел, наверное, сейчас у онемевшего телефона в печали и думал об Антонине.

«Кого же она приволокёт-то? – соображал Ковригин. – Детишек спланировала в поход по пушкинским местам, значит, Алексея в автомобиль она не посадит...»

Алексей, сорокалетний архитектор, в последние годы – удачливый и с заказами, был второй муж Антонины и отец племянников Ковригина. С ним Ковригину всегда было приятно поговорить и выпить. Детей своих Алексей любил, как и дядечка Ковригин, и, коли дозволялось, с охотой приезжал сюда. В Зыкеево Урочище – вспрыгнуло вдруг в мыслях Ковригина. Если же Антонина доставит на дачу (или прибудет в его автомобиле) нового хахалю или кавалера с намерениями, могут возникнуть и напряжения. Хотя ему-то, Ковригину, что? Вразумить чем-либо или в чем-либо эту своевольную дуру Ковригин не был в состоянии. Вот уж истинно, хоть кол на голове теши...

Впрочем, и на нового сестрицына игруна или претендента взглянуть было бы интересно. Но скорее всего – минут на пять, и всё стало бы ясно. Хотя Антонина Андреевна могла завести кого-нибудь и ради забавы, подразнить старшего брата.

А вот с приятельницей или с приятельницами вышло бы поскучнее. Завидным женихом Ковригина назвать было никак нельзя. Хотя порой (на недолгое, правда, время) он оказывался и при деньгах. И репутация повесы и шалопая (не плейбоя, не плейбоя, для этого надо было соблюдать правила соответствия жанру, а это Ковригина тяготило бы) сужала круг женщин, заинтересованных в общении с ним и тем более в поисках выгод от этого общения. Конечно, случались и чудачки, глаза пялившие в его сторону, но таких надо было ублажать извержением слов и угощать конфетами с ликёром, а это было скучно. Однако Антонина не переставала подводить к Ковригину барышень, какие, на её взгляд, могли быть ему не противны, а в случае удачи и составили бы легкомысленному переростку устойчиво-нравственную компанию.

Антонина была на два года моложе брата, но считала себя чуть ли не опекушкой Ковригина. Иногда на неё набредали приступы материнских чувств. Она готова была подсовывать под спящего Ковригина уголки одеяла, чтобы, не дай Бог, братец не озяб и не простудился.

Отношения между ними были слоёно-переменчивые. То в режиме пикировок, на грани скандала. То в гармонии горько-сладостной любви. Были эпизоды, когда Ковригин и Антонина жалели о том, что они брат и сестра, а не чужие по крови люди. Их тянуло друг к другу, иногда они боялись остаться в доме или на даче одни, при этом испытывали чувство стыда: а не извращенцы ли они? Антонина даже набралась смелости и побывала у сексопатолога. Выяснилось, что случай их вовсе не редкий, подсудного людской молве ничего в нем нет, и всё зависит от выбора: кто-то переходит черту, кто-то – нет. Назывались и медицинские термины, Антонина запомнила их, Ковригин же не мог держать в голове и названия простейших лекарств. А после чтения второго тома «Человека без свойств» Музиля с историей главного героя Ульриха и его сестры Агаты они будто бы получили облегчение и перестали стыдиться своей тяги друг к другу. Природа неисчерпаема в вариантах расположения людей в их томлениях и радостях. Черту они не перешли, и теперь, после множества любовных приключений, порой не могли понять: жалеть ли им об этом (хотя бы и о единственном случае «перехода черты») или не жалеть...

Нынче они существовали в состоянии спокойного нейтралитета при осязательном (внешне) подчинении Ковригина затеям и предприятиям младшей сестры. Тем более что Антонина была убеждена в том, что она практичнее и разумнее балбеса, по недоразумению отправленного в жесткие реалии жизни на два года раньше её...

Субботнее утро вышло добродушно-ласковым.

А ночь накануне была прохладной. Полнолуние, вопреки сведениям Лоренцы (и тут, стало быть, она дала повод считать её существом неосновательным и эфемерным), не наступило. Но луна уже не выглядела примятым лишь с одного бока мячом регбистов, вот-вот должна была надуться до положенной гладкости и ползла с юга меж редких облаков и кружева березовых ветвей. Ковригин сидел в пластиковом кресле посреди сухого сада и слушал, как яблоки бомбили крыши. Подумал: «Яблоки». Потом решил: «Яблони». Яблони в лунном безветрии занимались бомбометанием.

Нынешней осенью земля, грядки, клумбы в садах поселка, особенно в тех, чьи хозяева из города уже не выезжали, были устелены яблоками. Будто в ранней ленте Довженко. Позднего Довженко (работы его, конечно, а не личность) Ковригин не уважал из-за пафосных красот, а вот немые фильмы мастера были для него хороши. Вспоминались эпизоды одного из них – яблоки, не переставая, падали там на землю, падали, как и полагалось в Великом Немом, беззвучно. Сейчас же они, иные из них – с антоновок, апортов, штрефлингов, в полкило весом, гремели. В поселке в последние годы дневными звуками электропил

и молотков давала о себе знать строительная лихорадка, и теперь в ночные часы фруктовые бомбы взрывались на свежих крышах, особенно тяжело и тревожно ударяли они в жестяные покрытия соседей Ковригина.

Яблонь в саду Ковригиных стояло двенадцать, но крыши дома и кухни от них не страдали, над теми тянулись в небо берёзы. При этом, по нынешним деньгам и понятиям, дом их был и не дом, а домик – комната, три террасы (две из них – пристроенные) и чердак. Домик, отчего-то названный финским, но привезенный из Щёкина, того самого, что портил своими вредностями жизнь Ясной Поляны, был щитовой и в годы Хрущёва благонамеренно соответствовал требованиям и духу вздуваемой ветрами эпохи Программы идеального общества. Без заборов и с равными условиями быта сознающих себя честью народа тружеников. То есть не вздумай выпендриваться и выделяться. Имей за городом непротекающую крышу и место для хранения инвентаря, ковыряйся по выходным дням на картофельных и овощных грядках, и достаточно. По легенде, наиболее свирепым ревнителем коммуных правил считался Член Политбюро Дмитрий Полянский, поговаривали, что после его усердий и в целях совершенствования человека всяческие права на наследство будут отменены. Чтобы в свободном и братском обществе всем предоставлялось удовольствие начинать с нуля. А потому родители Ковригина и не суетились. И так могли обеспечить себя стеклянными банками с соками, вареньями и маринадами. К банкам бы ещё добыть крышки для завёртывания. Из ягод же получались хорошие домашние вина и наливки. Участок получил отец Александра и Антонины Андрей Николаевич Ковригин, корректор в издательстве. Понятно, денег он в семью приносил в носовом платке, и когда пошли послабления и повсюду в поселке затевали надстройки и дома как бы «флигельные», сил у него хватило лишь на две хрупкие пристроенные террасы. Но тогда всё это мало трогало Ковригина. Что есть, то и есть. Главное, чтобы отец дышал летом лесным воздухом, а мать, в чьем роду были крепостные крестьяне, сидела в грядках и радовалась любому зародившемуся кабачку. Теперь же, когда Ковригин наблюдал в глянцевого журналов фотографии вилл с мордами известных стране звезд, цену которым он знал, всё это были, по его понятиям, пустышки и шелупонь, он начинал досадовать. А тут ещё и в их поселке стали подниматься терема совершенно ничем не примечательных личностей, и досады его обострились. «Впрочем, стало быть, ты достоин своих условий проживания, – успокаивал себя Ковригин. – Ты лежащий камень и этим обстоятельством доволен. И не будет у тебя ни уважаемого автомобиля, ни приличной квартиры...»

«И не надо!» – грозно заявил кому-то Ковригин.

И тут же отругал себя.

О чём он думает?! При тиши (падение яблок несколько не раздражает), глади и Божьей благодати лунной ночи, на куинджевскую непохожей, и в непохожести своей ещё более прекрасной; будут ли у него ещё такие ночи и мирногрозвучие в душе?..

9

Разбудили Ковригина автомобильные гудки.

Ковригин выскочил во двор в трусах и в смущении вынужден был извиняться.

У ворот рядом с синей «семёркой» стояла Антонина, руки в боки, и при ней – сопровождающая особа.

– Сейчас, сейчас, я оденусь, – пообещал Ковригин. – И вынесу ключи...

– Да на кой нам твои одевания! – заявила Антонина. – Отворяй ворота и калитку! И разгружай машину!

«Так, – сообщал Ковригин. – Значит, без мужика. Сказала бы толком о бабе, уговорил бы Дувакина приехать... Всё было бы веселее...»

– У нас может быть и ещё один гость, – сейчас же остудила его Антонина. – А вдруг и не один...

«Ага. Без мужиков всё же не обойдутся... Интересно, какие сюжеты нынче намечены? А может быть, из этих сюжетов я и вынырну», – будто бы испытал облегчение Ковригин.

– Смотри, какие бока-то отъел! – не удержалась Антонина и ущипнула Ковригина. – Обнаженная натура! Таскай, таскай, там и тебе что-то перепадет. Завтрак можешь не готовить, сама что-нибудь соображу. Какой ты кулинар, я знаю...

Замечание это вызвало протест Ковригина, впрочем, вслух не высказанный, оно и к лучшему, пусть сами и готовят, то, что он умеет колдовать на кухне, сестрице было известно по житейской практике, стало быть, ехидство было ею произнесено и не для него, Ковригина, а для сопровождающей особы.

На особу эту Ковригин взглянул мельком, она уже грызла яблоко, отмахиваясь от оживших мелких мух, посмеивалась чему-то, было ей лет двадцать пять, эстетических одобрений первого взгляда она у Ковригина не вызвала, а подвинула его к моментальному решению – проявлять себя джентльменом и угодником нет игровой нужды, и поведет он себя букой и дикарём.

– Напрягать вашу творческую натуру, маэстро Ковригин, вряд ли мы будем, – сказала Антонина. – Вам повезло. Мы приехали по делу.

– По какому? – на всякий случай спросил Ковригин.

– Дом надо ставить, Сашенька...

– Какой дом?

– Большой, красивый. Три спальни наверху, гостиная, комнаты для гостей, ну и внизу, ну и камины. Как у людей. Даже у тех, что живут в нашем посёлке...

– В Урочище Зыкеево... – пробормотал Ковригин.

– Каком Урочище? – удивилась Антонина.

– В обыкновенном... сыром...

– В общем, пришла пора. Дети растут. И я решила...

– Ты решила... – сказал Ковригин.

– Я понимаю, Александр. Ты сейчас надуешься. Да, ты старший брат. Да, участок записан на тебя. А я взяла и за тебя решила... Но я выложу все свои доводы и...

«Уломаю тебя...» – должна была произнести Антонина, подумал Ковригин, и ведь уломает, в первый раз, что ли... Но приехала бы одна, ну не одна, а с детишками, они для Ковригина – как свои собственные, и разъяснила бы свое пожелание, и всё бы кончилось непременным, но мирным ворчанием брата. А тут – всё на ходу, да ещё и при чужой и смешливой особе. Что-то здесь было не так. Или совсем не так. И уж точно не по семейным правилам. Ковригин чувствовал, что Антонина находится сейчас в несомненном напряжении, ему даже передалась её нервная дрожь, и это была дрожь не нетерпения или азарта, свойственных

сестре, а дрожь неуверенности в себе и своем предприятии, а потому, видимо, она и захотела нынче пойти в любовую атаку и взять брата голеньким. Что (второе) и вышло самым натуральным образом.

– И Ирина, – сказала Антонина, – согласилась приехать сюда вовсе не для развлечений и шашлыков, и тем более не ради знакомства с тобой, а именно по делу. Она – дизайнер и довольно успешный.

– Ирина, – кивнула дизайнерша и разулыбалась, будто бы радуясь словам Антонины и её огорошенному братцу.

– Александр, – пробурчал Ковригин. – Очень приятно познакомиться.

– Александр, – строго сказала сестра. – А кто такая Лоренца?

– Какая ещё Лоренца? – нахмурился Ковригин. Антонина, похоже, решила закрепить удачи любовой атаки.

– Лоренца Козимовна. Которая приезжала к тебе на серебристом «лендровере». Красавица! У нас вон с тобой дрянная «семерка», а у неё «лендровер». Нам с Ириной активист Амазонкин уши залил компотом и просил передать Лоренце Козимовне нижайшие поклоны. И вроде бы она отъехала от тебя утром. Так кто же такая Лоренца Козимовна?

– Моё дело... – сказал Ковригин и захлопнул крышку пустого уже багажника. Дрянная «семерка» – была единственным серьёзным приобретением Ковригина, однажды его книжку оценили неплохим гонораром, но ездила на синей дряни чаще всего Антонина.

– Ты, Ирина, – сказала Антонина, – не подумай, что он такой дикарь и питается лишь шишками с ёлок. Нет, иногда он бывает и ходок, в костюмах, это с него Роден ваял «Мыслителя».

– И Мирон «Дискобола», – добавил Ковригин. – И Андреев Гоголя Николая Васильевича для бульвара.

– Точно, точно! – обрадовалась Антонина. – И Мирон Гоголя! Так кто же такая красавица Лоренца?

– Её ко мне присылал Пётр Дмитриевич Дувакин, – сказал Ковригин.

«Так вот... – подумал Ковригин. – Получи своё...»

– А вчера он передавал тебе привет. Я хотел было позвать его на грибы, но не ведал, с кем приедешь ты.

Антонина не сразу, но переборола в себе (из-за слов, произнесенных в присутствии гостя, что ли?) смущение, возможные неприятно-неловкие соображения и восстановила в себе воительницу, властную особу («Ба! Да она вылитая царица Софья! – явилось в голову Ковригину и сразу раздробилось на собственные же возмущения. – При чем здесь царица Софья! Что за глупости лезут в башку! На Дувакина, что ли, напала икота? И что такое „вылитая“? Кто-то ведь первым употребил эту ерундовину! И в связи с чем?»). Властная особа Антонина поглядывала так, будто она, казалось Ковригину, снова была способна продолжить атаку на него, иронизировать над ним, повелевать им, словно холопом своим или стрелцом полка Хованского. Бред какой... Или же ей, напротив, хотелось радоваться ему, как чуть ли не отпрыску своему, именно ею взлелеянному и воспитанному, и предъявлять его подруге, умеющей ценить линии и формы, экземпляром дачного молодца и лоботряса (оттого и было приказано таскать вещи из багажника «обнаженной натурой»)?

– Ну ладно, к Лоренце мы ещё вернёмся, – словно бы смиростивилась Антонина. – Иди приоденься. Только прихвати в дом наши вещички. А потом приходи завтракать. Мы сейчас что-нибудь состряпаем.

«Стерва! – думал Ковригин, стряхивая на террасе землю и травинки со ступней. – Босиком бегать заставила. Врасплох решила брать. Спящего!» Натянул адидасовские штаны и майку, зашнуровал адидасовские же кроссовки, всё, понятно, произведённое в провинции Муданьдзянь, если такая есть. «Стерва! – повторял он про себя. – Стерва! Предавшая Шакло-

витого! Ну, я ей что-нибудь устрою! И сегодня же. Спящего. Врасплох». Но сейчас же сообразил, что он вовсе не Василий Иванович в станице Лбищенской на берегу бывшей русской реки Урал. Он был не спящий, а проспавший, засиделся вчера в саду в лунных фантазиях. И понимал, что ничего эдакого он Антонине не учинит. Поводов для его досад она создавала много и часто, но долго сердиться на неё он не мог. И сегодня через полчаса его огорчения должны были развеяться...

А вот дизайнерше Ирине досадить следовало...

Экая смешливая кобылица!

Однако, отчего же кобылица? Хотя на вид крепких, предположим, форм. Будто бы из накачанных. Из посетительниц фитнесцентров и спа-салонов. Весной или летом заплывала за буйки где-нибудь на пляжах Ибицы. Но тощая блондинка. Длинная, выше Антонины. Наглая. Волосы жидкие. Прямо стянутые к пучку, из тех, что, как остряты, отглаживают утюгом. Не только без яркости барышня, но и без породы. Впрочем, что такое порода? Лёха Чибики из графьев и князей, а при знакомстве подумаешь – шпана из подворотни. Это про Антонину Ковригину говорили: «В твоей сестре чувствуется порода». На филфаке Антонину сравнивали с Элен Безуховой, что, естественно, её раздражало. И сейчас она, вальяжная, рослая, в теле, в соку, ухоженная, но и спортивная по-прежнему, с лукавыми глазищами, прекрасно причесанная, (природная шатенка), рядом с провинциально-претенциозной Ириной (явно явилась из Уржума завоёвывать столицу) вызывала мысли о породе или даже о примечательном фамильном древе. А какая у Ковригиных была порода? Папаша выглядел маленьким сухоньким мужичонкой. Такому в лаптях ходить. Курил самокрутки с махоркой, выращенной им здесь же в огороде рядом с огурцами и помидорами. Да и у матери в роду были крестьяне и яхромские ткачи. И вот – нате вам! – дочь у них выросла Элен Безуховой, правда, эта Элен Безухова лазала по скалам, гоняла на мотоцикле и прыгала с парашютом. А сынок, то есть он, Ковригин, вымахал в детину ростом в метр восемьдесят семь.

В кухню Ковригин зашел как бы с неохотой, как бы у него не было аппетита. Антонина с новой своей приятельницей состряпали бутерброды с бужениной, красной икрой, открыли банку шпрот и бутылку полусухого вина.

– Шашлыком ты займешься, – объявила Антонина. – Часа в четыре. Нет, в пять. Теплень-то какая! Тебе бы в шортах ходить нынче.

– Ходить я не буду, – сказал Ковригин, движением ладони отклонив стакан с вином, и нажал на кнопку электрического чайника. – Я буду сидеть. У меня много работы. И срочной. Опять тот же Петя Дувакин озадачил.

– То есть ты даешь понять, – сказала Антонина, – что наше общество тебе малопривно, ни прогуливаться с нами и вести светские беседы, ни потом телохранителем сопровождать нас в дремучем лесу ты не намерен? – Человек не в настроении, – сказала Ирина, продолжая улыбаться, – зачем принуждать его к чему-либо, дорогая Тони? Тем более к непосильным подвигам...

«Она меня достанет этим „дорогая Тони“! – подумал Ковригин. – Хорошо хоть не произнесла „дарлинг“ и не выплюнула жвачкой: „Вау!“»

– И о чем же таком замечательном, – язвой усмехнулась Антонина, – уговорил тебя написать Дувакин?

– Мало ли о чём или о ком, – проворчал Ковригин. – Вам-то что? Ну, предположим, о Марине Мнишек и о царевне Софье, опальной сестре великого Петра. – Блин! – громко то ли обрадовалась, то ли удивилась Ирина. – Да что всех заклонило на этой Марине Мнишек?

– Кого всех? – спросил Ковригин.

– Да хотя бы Натали Свиридову! Старушка, ей сорок уж, дорвалась до Марины Мнишек в «Годунове». И радуется.

– Какие ей сорок? – с легким (или нежным?) укором взглянула на приятельницу Антонина. – Ей тридцать три. Она моя ровесница.

– Извини, дорогая Тони, какая же ты старушка, ты ой-ой-ой! – Ирина, похоже, и не смутилась. – Я про Натали. Ей-то как раз сказали, что она наконец доросла до Марины Мнишек у Фонтана. Росла-росла и доросла. И она счастлива.

– Марине Мнишек, – хмуро сказал Ковригин, – которая в Самборе у фонтана, было пятнадцать лет.

– Ну, значит, она доросла как актриса! – выпалила Ирина и рассмеялась. – Меня ещё на свете не было, а какой-то влюбленный в неё шпендрик приносил ей пьесу о Марине Мнишек, он был бездарь и придурок, и в прыщах, она его выгнала с пьесой, а теперь вот доросла.

– Но ведь до Пушкина доросла! – заметила Антонина.

– От кого вы знаете про шпендрика? – спросил Ковригин.

– От Натали. От кого же ещё! Вау! – Ирина снова рассмеялась. – Она моя тётка. То есть она моя старшая двоюродная сестра. Но я с детства называла её тётей.

– Сколько же вам лет, извините?

– Мне? Мне... – тут Ирина быстро взглянула на Антонину. – Мне двадцать четыре...

– Но если вас в случае со шпендриком не было на свете, – сказал Ковригин, – выходит, что вам не более шестнадцати.

– То есть?

– Этот шпендрик был я, – сказал Ковригин. – То, что я бездарь и придурок, это справедливо, но прыщей у меня не было.

Антонина ерзала на табурете, желала, видимо, изменить ход разговора, и это Ковригина забавило. Хотел было пожалеть сестру, но передумал.

– А кто играл Самозванца? – спросил Ковригин на всякий случай.

– А этот... Гаврилкин, кажется...

– Но ведь Гаврилкин тенор, – удивился Ковригин. – Он же в опере у Мусоргского поёт Самозванца...

– А он и пел! – хохотнула Ирина. – Рядом с Натали всякий запоёт!

– Вы – дизайнер? – успокаивая себя, спросил Ковригин.

– Да! – не выдержав, воскликнула Антонина. – Ирина прекрасный дизайнер. С мировым уже именем. Совсем недавно мы работали в Крылатском. Там и познакомились. На Кубке Кремля. Нет, не теннис. Конкур. Конкур. Лошадки. Меня пригласили переводчицей. А Ирину экстренно уговорили стать курс-дизайнером...

«Ага, вот откуда кобылица-то возникла! – сообразил Ковригин. – Хотя какая тут логика?»

– Ты хоть знаешь, что такое курс-дизайнер? – спросила Антонина.

– Нет. Мне неведома тайна сия, – произнес Ковригин. Манерно произнес. Будто бы даже с высокомерием по отношению к курс-дизайнерам. И вызов явно был в его словах.

– На конкурном поле, – Антонина словно и не почувствовала его высокомерия, – все препятствия должны находиться на определённом расстоянии друг от друга. Как того требуют программа именно этого соревнования и необходимости разбега лошадей. И, естественно, соответствовать уровню современного дизайна.

– Лошадиного? – спросил Ковригин.

– Хотя бы и лошадиного! – хмыкнула Ирина.

– Не ехидничай, – нахмурилась Антонина. Но сейчас же и продолжила представление подруги: – Всё уж было готово в Крылатском. У нас теперь, имея в виду Сочи, вынуждены пускать пыль в глаза. А тут июльский ураган, почти торнадо, ты здесь сидел, у тебя не веточки не хрустнуло. В Крылатском же препятствия покорёжило. Бригаде дизайнеров дали неделю срок. И Ирина своими проектами порвала всех!

– Это с какого языка? С языка синхронных переводов, что ли? – спросил Ковригин. – И где теперь порванные в клочья?

– Ты дурака валяешь, что ли? – удивилась Антонина. – Так многие теперь говорят. И у Ирины девиз: «Порвать всех!». Тут и целеустремлённость. И уверенность в своих силах. И таланте. Чего нет у тебя.

«И ведь порвет», – подумал Ковригин.

– Многие говорят... – произнёс он, обращаясь как будто бы и не к Антонине, и не к самому себе, а куда-то в воздухе. – Режиссёрша из Похвистнева, завоевавшая в Москве два когда-то любимых мною театра, требует от актёров: главное – порвать публику! Тренер, мне известный, говорил своим фигуристам: на трибунах одни враги, их надо порвать!

– Ты, Александр, сегодня не в духе, – сказала Антонина. – Не выспался, что ли? Или мы тебя раздражаем? – Писанина идет плохо, – сказал Ковригин. – А сроки Дувакин дал малые. А потому я покидаю вас и отправляюсь к бумагам.

И отправился.

Полагал, что его остановят. Или хотя бы выскажут в спину, вдогонку (то есть, понятно, выскажет Антонина) какие-либо ехидства или сожаления. Не остановили, не высказали. Будто от них уходил никчемный и лишний Амазонкин. Хихикали, болтали о чём-то своём, городском, жевали.

«А я ведь и впрямь для них сейчас лишний...» – расстроился Ковригин.

Уговаривал себя не расстраиваться. Ему ли удивляться увлечениями младшей сестрицы. Должен был бы привыкнуть к ним.

Но успокоиться не мог.

Порвать всех. Девиз хорош. Порвать публику. Ради чего? Поселить бы эту желающую порвать всех в Маринкину башню при впадении Коломенки в тихоструйную реку Москву. Но Мнишек в Маринкиной башне, возможно, и не была размещена. Да и желала ли девочка из Самборского замка порвать всех? Вряд ли. А нынешние желают. И всех порвут. Если смогут. Какие препятствия, интересно, выстроила бы курс-дизайнер Ирина в мокрый день на пути странствия взбаломученных чем-то лягушек?

Стоп. Хватит. Ещё и лягушки. О них было постановлено забыть.

Коли бы работа пошла, Ковригин забыл бы и о новой подруге сестры, и о самой сестре, но, увы, терраса глядела в сад и именно на яблони в саду.

Чтобы дамы не посчитали возможным сунуться к нему с разговорами, Ковригин обложил себя бумагами, книгами и тетрадями. Среди прочих у правой руки его на столе улеглась тетрадь с выведенными на её обложке словами: «Мелочи. На всякий случай». Впрочем, это была и не тетрадь. Записи (или выписки) «мелочей на всякий случай» Ковригин делал в вахтенных журналах маяка острова Карагинского, что в тихоокеанских водах у берегов Корьякии. Командировочно на неделю залетал к маяку («маяку» – говорили местные служители) на вертолёт и получил там в подарок пять пустых вахтенных журналов. Ради пижонства и произвёл журналы в писчие тетради. На дачу завез из Москвы одну из них «Р-С», ради работы о Рубенсе. Открыл тетрадь и на страницах буквы «С» наткнулся на запись: «Скань. Софья. У царевны Софьи, сестры Петра I, было большое зеркало в сканой раме». Далее шли слова: «Одиссея. Гомер. Страсть Марса. Сетка проволочная для поимки Венеры»:

Крепко свою наковальню уладил... и проворно
Сеть сковал из железных, крепчайших, ничем неразрывных
Проволок... сетями своими опутав подпоры кровати,
Их на неё опустил с потолка паутиною тонкой...

Почему под зеркалом в сканой раме царевны Софьи возникли строки о страсти Марса и сетке проволочной, Ковригин рассудить не мог. И вспомнить не мог, какие его соображения десятилетней (выходило) давности поместили Марса с сеткой рядом с Софьей. Зато теперешние его мысли вызвали видение Софьи, рассматривавшей себя в зеркале (большом!) со сканой рамой. Наверняка она была в «невыходном» европейском платье. А не украшала ли это платье костяная пороховница?.. Опять – пороховница! Чтобы отвлечься от всяческих пороховниц, Ковригин продолжил чтение давно забытых им самим записей «на всякий случай». И прочел: «Суриков (поры „Стрелецкой казни“) о Софье. Не понравилась ему репинская Софья. Как не понравилась и Стасову. Стасов считал, что Софья у Репина позирует. А по понятиям Стасова, Софья была самой талантливой, огненной и страстной женщиной Древней Руси. Суриков же высказался так: „Женские лица русские я очень любил, непорочные ничем, нетронутые. Среди учащихся в провинции попадаются ещё такие лица. Вот посмотрите на этот этюд (девушка с сильным, скуластым лицом), вот царица Софья такой должна быть, а совсем не такой, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать, взмах бровей, быть может... Нетронутая красота...“»

Разговор в саду заставил Ковригина поднять глаза.

Две дамы бродили под яблонями.

Они успели переодеться, зашли, видимо, в Детскую, не отвлекли Ковригина от вахтенных журналов с «мелочами» и теперь в соответствии с июльским настроением нынешних осенних деньков пребывали в саду в шортах и топах на тонких бретельках. В шляпах не нуждались, и без них женщины были хороши. А коли бы и Ковригина посетило сейчас июльское настроение, они бы и у него вызвали обострение чувств. Хотя бы и эстетических. Теперь же в противостоянии их агрессии Ковригин был готов отыскивать в них изъяны. Крепкие икры и плечи («выдержат и два коромысла») Ириныгодились в подтверждение мыслей о вульгарности и наглости гостьи. Марина Мнишек с обложки жэзээловской книги, с портрета, написанного её современником, смотрела на Ковригина кротко, деликатно и жемчужно-ласково. А тут Ирина приволокла хозяйственную сумищу и достала из неё веревочные мотки, связки колышков и деревянные молотки («кианки» – вспомнилось Ковригину). С помощью Антонины деловая курс-дизайнерша принялась вбивать колышки в землю, растягивать бельевые будто бы веревки, устраивая явно разметочную геометрическую фигуру. Ковригина в советчики не призывали, в сторону его окон вообще не оглядывались, судачили о чём-то, но тихо, пересмеивались и очевидно получали от общения друг с другом удовольствие. Колышки и верёвки то и дело перемещали, производя, наверное, примерки, наконец-то успокоились, будто бы завершив фундаментальное дело, уселись в зелёные пластиковые кресла, закурили.

Восемь яблонь, а с ними и две сливы оказались в плену колышков и бельевых верёвок. Среди них и любимая Ковригиным грушёвка.

На террасе стало душно, и Ковригин открыл окно. Не открыл даже, а в сердцах толкнул раму среднего окна, чуть стекла не вышиб. Не на солнце сердился. И не из-за духоты толкнул, а ради того, чтобы лучше слышать разговоры в саду, улавливая оттенки интонаций собеседниц. Но поздно открыл, собеседницы, девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, откулив, встали.

– Вы чего, и грушёвку пилить будете? – не выдержал Ковригин.

– Мы ничего лично пилить не будем, если только тебя заставим, – сказала Антонина. – Но грушёвка мешает. Да она и отжила своё... Вот берёзы и дубки оставим...

– И на том спасибо... – пробурчал Ковригин.

– Что ты сказал? – спросила Антонина.

– Да так... Ничего... Ничего я не сказал...

– Мы сейчас с Ириной пройдемся по посёлку. Посмотрим, кто что построил. А потом я Ирине здешние достопримечательности покажу. Пруд, в частности...

– Какой там теперь пруд! – сказал Ковригин.

– Какой-никакой. Сам говорил, по осени к нам цапля прилетает...

– Её там сейчас нет.

– Значит, и лягушек нет. А раньше, бывало, – это уже Ирине, – мы, девчонки, дуры, в конце мая – июне лягушачьей икрой морды мазали, ну не морды, понятно, а прелестные личики, лбы и щеки обкладывали...

– Это зачем? – удивилась Ирина.

– Веснушки сводили! – рассмеялась Антонина. – И получалось. Я тогда страдала, бестолочь, веснушками вся обсыпанная. Мол, какая уродина! Тюха деревенская! Сарафаны носить стеснялась – и плечи были в веснушках! А сейчас ни веснушек, ни, выходит, и лягушек!

А ведь было такое! Ковригин запомнил! Было! Веснушки на лбу, на щеках, на плечах сестры. И сам с шутками, с хохотом, с ощущением благоудовольствий жизни обмазывал визжавшую якобы от холодной воды, чуть ли не от страха – а ничего не боялась, вёрткую тогда девчонку лягушачьей икрой, в особенности густой случалась она в затончике возле участка Соловицких, не обмазывал даже, а обшлепывал, будто штукатур раствором. Как давно и как хорошо это было. Но запомнил...

– О шашлыке не забудь, это дело мужское, – сказала Антонина. – Баранина в кастрюле с маринадом и луком – в холодильнике.

– Помню, – кивнул Ковригин. – Но ведь это не раньше четырех часов, так вроде бы? Или даже после четырёх?

– Именно так, – сказала Антонина.

Ковригин ощутил, что зла на сестрицу он уже не держит, да и дуться на неё – грех, воспоминания о детских забавах и лягушачьей икре вызвали умиление Ковригина, ему захотелось тотчас же сделать что-то хорошее для девчонки с веснушками, обнять её за плечи, чайно-лаковые нынче, облагороженные гелями и снадобьями с благовониями из орхидей и ланг-лангов, но постеснялся.

– Ты про племянников ни слова не произнесла, – сказал Ковригин. – Как там они? Я по ним соскучился... – Некогда, – сказала Антонина. – Выпадет свободная минута, расскажу... Они – в порядке...

И Ковригин был вынужден наблюдать спины и ноги приятельниц, сведённых судьбой и расвирепевшими московскими ветрами на конкуре в Крылатском, спины и ноги, надо признать, привлекательные, осанку, отметил Ковригин, сестра сохранила отменную, да и шея её по прежнему заставляла думать о линиях античных граций (помпейские фрески и мозаики вспомнились Ковригину). Мысли об этом были приятны, пока курс-дизайнерша не положила руку на плечо Антонины со словами: «Тони, дорогая!» – и не рассмеялась. Смех её вышел грубым и властным. Словно бы даже владетельным. Есть женщины, и красотки будто бы среди них, каким рты добродетельнее было бы заклеивать скотчем, а уж хохот иных из них был способен морить пауков в самых недоступных углах.

«Этакая и впрямь, – подумал Ковригин, – публику порвет!»

Ковригин помрачнел.

Несколько минут назад в умилении своём он снова был готов согласиться с любым решением сестры, поворчать ещё немного, как же без этого, без этого никак нельзя, а потом всё же признать: «Да, ты, пожалуй, права. И детям будет хорошо». Теперь же он считал сестру чуть ли не предательницей.

«Тони, дорогая...»

Ковригин вспомнил об отце с матерью.

Могло ли им когда-то прийти в голову, что отродье их, веснушчатое-подсолнуховое летом, бойкое, склонное к авантюрным затеям, требующим ремня, но в делах своих всё же благоразумное, пожелает в их садуогороде, в отдушине их жизни, всё перекорёжить и земные деяния их истребить? Мысль именно об истреблении и самому Ковригину показалась излишне категоричной и, возможно, несправедливой, но он её не отменил. Понимал, что постановление Антонины – опять реально-разумное, не в романтических же руинах жить ей с детишками (и ему). Память же об отце с матерью надлежало сохранять в душе своей, а вовсе не в музейных футлярах на манер того, что укрывает домик Петра от воздействий погодных вздоров и хода времени на невском берегу. И так щитовому изделию щёкинских лесопилов удалось простоять больше сорока лет. К тому же Антонина и слова не произнесла о том, что намерена ломать их нынешнее дачное жильё. А потому и не следует возбуждать в себе бунтаря или хотя бы оппозиционера, бунтари и оппозиционеры, как правило, очень быстро становятся корыстными и прикормленными соглашателями, а надо всё же потихоньку привыкать к житейской необходимости. Склоняя, естественно, сильных мира сего к уступкам и компромиссам. Однако... Вот что интересно-то! Да! Интересно, откуда у сильных мира сего, то бишь по семейным расположениям сил – у Антонины, сыщутся средства на воздвижение замка? Не от него ли, Ковригина, потребуют финансовых подвигов? Мол, ребёнки плачут, сострадательный дяденька. Сострадательный и добродетельный...

Истории Марины Мнишек и царевны Софьи с её подземными путешествиями под рекой Неглинной финансовых удач не обеспечат.

Но сегодня хотя бы отвлекут, посчитал Ковригин...

Обряд венчания уже и не Марины, а Марии Юрьевны в Успенском соборе (после коронации) совершал протопоп Фёдор. «Народ в те поры ис церкви выслати...» Из собора царицу Марию Юрьевну вывел император Дмитрий (так распорядился себя именовать). Под левую руку её вел Василий Шуйский. За свадебным столом «мусики» и танцев не было. И всё же Радость свадьбы свершилась. А потом начались пиршества и веселья с плясками и пением хора, выписанного из Польши. И подносили Марии Юрьевне подарки – рысьи меха, бархаты златотканые, кубки из серебра, иные – с перламутром раковин, соболей и парчу. Однако, как полагается и как выводится из практики московской жизни, недолго музыка играла. Всего-то девять дней. Через девять дней царица Мария Юрьевна овдовела...

Немного времени было отпущено и Ковригину для отвлечений.

10

Вернулись дамы, совершив экскурсионный обход. Отчасти разочарованные – цапля не соизволила снова посетить пруд. Отчасти – воодушевлённые. Новые дома посёлка, естественно, в подмётки не годились их проекту. Мнение о подмётках высказала Ирина. Антонина с ним согласилась. Энергия дамами не была потрачена, и они решили сейчас же отправиться по грибы. – Я посоветовал бы вам переодеться, – стараясь быть миролюбивым, сказал Ковригин, – и прикрыть ваши обнажённые красоты.

– Экий ты стал в своей культурной глуши высоконравственный! – сказала Антонина. – Нам с Ириной стыдиться нечего.

– Да шляйтесь хоть нудистками! – сказал Ковригин. – Но потом не нойте. Комарьё и мошара вас закусает. И собак диких развелось множество.

Чуть было не добавил про козлоногого мужикаматерщинника со свирелью в руке и в волчьих мехах на бедрах, но очень может быть, мужик этот, якобы эллинского происхождения, был уже изгнан напрочь из здешних грибных мест страшным Зыкеем или вовсе Ковригину привиделся, а потому Ковригин о мужике промолчал. К тому же при Антонине находилась спутница, способная порвать всех. «Да что я привязался к этой дизайнерше? – заворчал на себя Ковригин. – Что я злюсь на неё? Ведь она, скорее всего, доставлена сюда именно для того, чтобы помочь Антонине выбрать наилучший вариант дома, в частности и для моего бытия...»

И спросил Антонину (а не собирался этого делать в присутствии чужого человека):

– А этот... наш-то домик... Что будет с ним?

Не дожидаясь ответа Антонины, Ирина заявила:

– Снесем.

Будто гвоздь вколотила.

– Но... – жалко (так ему казалось позже) заговорил Ковригин, обращаясь при этом лишь к сестре, – мы ведь в нем выросли... он ведь намолен нашими с тобой матерью и отцом... и нами... нашими судьбами...

– Сантименты. Бедная Лиза. Карамзин! – ещё один гвоздь вколотила Ирина. – Реплики из мелодрамы.

– Сашенька, – будто бы с намерением успокоить огорчённого малыша и не дать ему разреваться начала Антонина, – я понимаю твои чувства. Но такова неизбежность. И было бы смешно устраивать из отжившего хлама мемориал. А вот старую мебель, она теперь в цене, и семейные реликвии, связанные с отцом и матерью, с нашим детством, мы перенесем в новый дом. Теперь ты ерепенишься, но потом успокоишься и поймёшь, что моё решение – и твоё решение...

Хорошо хоть Антонина стояла сейчас в саду, а он, Ковригин, сидел на террасе, весь будто бы в делах, а то ведь она готова была, Ковригин это почувствовал, прижать его к себе и головку погладить неразумному мальчугану, этого бы Ковригин не выдержал, мог бы сестрицу и отшвырнуть чуть ли не со злостью.

– Я повторю, – сказала Антонина, – участок записан на тебя, ты тут ответственный хозяин, но прошу, подумай и о племянниках, время летит, они станут взрослыми, где им жить? Я верю: ты привыкнешь и успокоишься...

– И что же будет на месте дома? – спросил Ковригин. – Мандариновую рощу здесь разведем?

– Зачем мандариновую рощу? – рассмеялась Ирина. – Здесь машины будем ставить. Не ночевать же им за забором.

– То есть здесь будет автостоянка? Или автобаза? С подземными гаражами...

– Ну, почему же с подземными? – удивилась Ирина.

– Ладно, ладно, – сказал Ковригин. – Хорошо.

И словно бы вернулся к своим бумагам.

– Нет, – сказала Антонина. – Братец мой, несомненно, не в духе. Пойдём-ка, дорогая, с глаз его долой и в лес...

Мошкаррой, а возможно, и бездомными собаками Ковригин всё же напугал дам, шорты были ими заменены на брюки, плечи и груди прикрыты от насекомых тельняшками гражданского назначения.

– Про шашлык не забудь! – выкрикнула, удаляясь, Антонина.

А подруга Ирина со словами: «В путь-дорогу, дарлинг Тони, в лес дремучий по грибы!» – положила сестрице руку на талию. Властно положила (может, и привычно?), будто уверенным в себе кавалером.

«Всё! – свирепея, думал Ковригин. – Всё! Более здесь я не выдержу. Не хотел съезжать так рано, а придётся. Дарлинг Тони! И главное: „Снесём. Машины будем ставить“. Они – снесут! Они – будут ставить! А ему велено привыкать. Ты – угловой жилец. И более никто!»

Дальнейшие действия Ковригина происходили суетливо-судорожно и с логическими скачками. На него то и дело напрыгивали сомнения. А может, и не стоит так категорично-немедленно уезжать в Москву? Не выйдет ли это поступком позёра? Или бегством? Унизительным и смешным. И от кого бегством? Получалось, что от дизайнерши Ирины. Он бы сбежал, а она осталась бы в их саду. Но это означало бы, что она смогла порвать и его, и он поднятыми к небу лапками выбрасывал к её ногам белые флаги. Нет, говорил себе Ковригин, никаких белых флагов! Он останется, будет холоден с Антониной, в разговоры о замках вступать не станет, а завезенная кобылица превратится для него в невидимый и беззвучный предмет, какой можно и не замечать.

Но Антонина-то! Но Антонина-то какова, тут же явилось Ковригину. Дарлинг Тони! Извольте выслушивать! И властная рука, возложенная на талию, несколько не раздосадовала Антонину! Нет, решил Ковригин, уезжать и сейчас же!

Он вскочил и отправился на чердак. Не думал задерживаться на чердаке, всего-то надо было забрать рюкзак, самый вместительный, для экстренной поклажи, но задержался. У двери присел на сосланный сюда стул со сломанной спинкой и чуть ли не слезу пустил. Чердак был живой. И чердак был – его, Ковригина, жизнью. Прошлой. Думал, что и нынешней. Полагал, что и в будущем сможет проводить здесь приятные для себя (да хоть бы и грустные) минуты. Естественно, для людей чужих, для той же курс-дизайнерши (но теперь, выходит, что и для Антонины?), на их чердаке прежде всего обнаружилась бы свалка. И более ничего. Неразумная, неряшливая и никак неоправданная нынешними днями свалка. Сейчас рядом с Ковригиным у двери чердака лежали небрежно сложенные валенки, бордовые боты, какие ни на ком не увидишь, резиновые сапоги, возможно, что и с дырами, прочая обувь, в частности, стоптанные полуботинки Ковригина фабрики «Скороход», по паре их ценою в четырнадцать рублей покупали ему года на четыре носки в университетскую пору и не выбрасывали на всякий случай, мало ли что... За обувью стояли листы стекла, были уложены упаковки с удобрениями на грядки и под яблони со сливами типа «хлорофос», не пошедшие в дело. Дальше валялось тряпье – старые куртки, выгоревшие шторы, а за ними – рулоны обоев, абажуры с мятыми каркасами, керосинка, тускло-серебристая соковарка, вышедшая из строя, да чего только не копилось на садово-огородных чердаках! При родителях выбрасывать что-либо отсюда было делом запретным, безнравственно-кошунственным, даже размышления об этом вслух тут же вызвали употребления валерьянки или нитроглицерина, при этом для сытых и неразумных детей вспоминали о тридцатых, сороковых да и пятидесятых годах, о житье-бытье в коммуналках и о том, какими усердиями наживали (да и добывали тогда) добро и прокорм. И по сколько лет это добро служило. После ухода стариков второй муж

Антонины архитектор Алексей не раз заводил с Ковригиным разговоры – а не почистить ли чердак от хлама, но теперь ворчал Ковригин (валерьянку пока не пил), ни от чего на чердаке избавиться не хотел, а вдруг там что-нибудь этакое откроется, конечно, хлам надо бы разобрать, но не сейчас, не сейчас, потом, потом, выпадет случай, вот и... А когда Антонина раскопала в хламе раритет – печь «Чудо» и стала радовать домашних и гостей замечательными пирогами с яблоками и вишнями, фантазии о ревизиях на чердаке и вовсе прекратились.

В отроческие годы Ковригин, что, естественно, не было чем-то особенным, мечтал о месте уединения. О замкнутом пространстве собственного пребывания на Земле. В коем он был бы свободен от всего на свете, даже от настырной Тоньки с её затеями и приставаниями, и волен был бы жить, играть, думать, читать, путешествовать в волшебные страны, выдумывать их, как и отсутствующих вблизи него королевы (воображение всегда увлекало его в упоительные и честолюбивые полёты), и всё это – в нерушимом и суверенном одиночестве. Ещё совсем мальчонкой в Москве он устраивал своё сказочное нездешнее государство под ножками письменного стола, не впуская в него и Тоньку. Но она-то, пронира, с девчачьими хитростями и уловками всё же вползала и в его игры. В саду-огороде Ковригин (а тогда ещё не были пристроены к дому две террасы), в свой Эрмитаж, или в свой Монплеизир, или в своё Монрепо, в башню над шотландскими скалами (а под скалами – серое море и берег, поросший вереском) произвёл именно чердак. Был бы в ту пору в саду пусть бы крошечный сарайчик, и там Ковригин хоть и на двух квадратных метрах сыскал бы место для временных уходов от мира внешнего в глубины, тайны и упования своей натуры. Но сарайчика не было, и сгодился чердак с резкими скосами крыши. Не весь, естественно, чердак, а южная, приоконная его часть. Фанерными листами по линиям стояков Ковригин выгородил как бы комнату, голову в ней, правда, приходилось наклонять, приволок раскладушку и детский столик, на него водрузил лампу с оранжевым абажуром. И всё. Это была башня его одиночества. В неё по решительной договоренности не допускалась и Тонька. А она стучала, и не раз, в запертую Ковригиным дверь чердака в надежде, что дверь откроют. Сопли разводила, сидя на балкончике перед дверью, грозила: «Ужо покажу!». И напрасно. И от Тоньки требовалось отдохнуть. Не один год вот здесь вот в фанерной башне Ковригин был самоценен и самовелик, грезил, совершал подвиги Александром Македонским и Квентином Дорвардом, и затворница герцога Бургундского влюблёнными глазами смотрела на него, юного шотландского стрелка, впрочем, любил он не только бургундскую затворницу, но и красавицу Сутееву из параллельного класса, и Одри Хепберн, имевшую приключения в Риме и желавшую после уроков профессора Хиггинса танцевать на балу в Лондоне, много кого любил, Тонька, понятно, в счёт не шла. Здесь он не только мечтал и читал, но и пописывал, прозу и стихи, чего чрезвычайно стеснялся, а опусы рвал, это позже будущая Звезда Натали Свиридова подвигла его к драматургической наглости – пьесе о Марине Мнишек. А порой на чердаке Ковригин просто валялся бездумно или же почти бездумно сидел у оконца и поглядывал на деревья, берёзы, дубки, яблони, вишни, сливы, кусты смородины и крыжовника, на вздрагивание их листьев, вызванное играми ветра, на суету птах малых, подмосковных родичей наглецаворобья (сами воробьи в сад не залетали) – всех этих гаечек, синичек, серых поползней, ржанок, мухоловок с красными затылками, зарянок с пурпурными брюшками, лазарев, особенно в августе, когда созревали черноплодка и рябина и взрослые особи пригоняли своих несмышлёнышей в сады по природной необходимости научить птенцов летать и добывать пищу. Сидел Ковригин у оконца и будто слушал музыку. Сам несмышлёныш, не сумевший ещё встать на крыло. Где теперь его фанерная крепость? Известно, где... А фанерные листы вскоре пошли на постройку двух террас. Здесь же, на чердаке, остались стул, детский столик и лампа с оранжевым тряпичным абажуром, Ковригин воткнул штепсель в розетку, лампочка (его лампочка!) загорелась. И то ладно... Сложенная раскладушка с лохмотьями зеленоватой ткани меж алюминиевых трубок стояла боком, а за ней под пра-

вым скосом крыши на клеёнке и на выцветших газетах ровненько размещались увязанные шпагатом стопки послевоенных (отец сохранял – как же, документы эпохи!) «Огоньков», «Смен» и «Крокодилов», в их редакциях работал дед Ковригина. «Это они и рвать не станут, – предположил Ковригин, – а просто сожгут... Надо бы вывезти, конечно, но когда и куда?..» Слева же от своего бывшего Монплезира, именно среди старья и хлама (хотя и там возможны были свои жемчужины – скажем, древние выпуски приложений к «Ниве» с первыми публикациями стихов Бунина или какие-нибудь его дешевенькие игрушки), Ковригин снова увидел синий патефон, не какого-нибудь Коломенского завода, а – французский, по семейной легенде – трофейный. Сколько хлопот доставляли поломки его пружины, её в усердиях то и дело перекручивали... Но как звучал французский патефон! «Хватит! – сказал себе Ковригин. – Этак я разнюнюсь, утону в воспоминаниях и никуда не уеду!» Он вытащил штепсель из розетки, направился было к двери, но тут ему показалось, что один из комплектов «Огонька» лежит обидно плохо, скособочился, сползает с газет и клеёнки. Оставлять журналы в неловко-некомфортной позе, посчитал Ковригин, было бы делом дурным, и он принялся устраивать стопку («сорок седьмой год», – отметил Ковригин) поровнее, поудобнее, что ли, но при этом обнаружилось, что под «Огоньками» была положена связка тетрадей. Стареньких, в клеточку, с белыми когда-то, надо полагать обложками. Тетрадей было семь. На верхней из них квадратными буквами отцовской рукой было выведено: «Записи». Ковригин прихватил связку тетрадей, сунул их в пустой пока рюкзак, запер дверь чердака и поспешил на террасу. «Сборы были недолги, – проговаривал при этом про себя, – сборы будут недолги...» Нервничал, отчего-то опасался, что сестра с дарлинг Ириной вот-вот вернется из леса и придётся с ней (или даже с ними) объясняться, может, и оправдываться, и не исключено, что Антонина разжалобит, размусолит его и уговорит остаться. Сборы и впрямь вышли недолгими, вещей (из одежды) Ковригин на дачу завозил немного, всё больше это были спортивные шмотки, сейчас они умялись на дне рюкзака. Дальше отправились в рюкзак бумаги и книги (из коробки Пети Дувакина тоже, естественно), а есть ли что-либо тяжелее книг? Впрочем, набитый рюкзак весил килограммов двадцать пять, ну, тридцать с небольшим – ноша для Ковригина вполне одолимая. А компьютер предстояло тащить в руке.

Теперь можно было усесть за стол и выдавить из себя распоряжения. В послании к членам правления садово-огороднического товарищества «Перетруд» (Урочище Зыкеево Чеховского района) Ковригин просил переписать находящийся во владении их семьи участок (все документы на землю и постройки на ней оформлены) на имя Ковригиной Антонины Андреевны, человека правлению хорошо знакомого и куда более, нежели он, Ковригин Александр Андреевич, способного соответствовать уставу и духу товарищества и содействовать его благопроцветанию. Подумав, приписал: «Доверяю до дня решения правления Ковригиной Антонине Андреевне производить на участке любые работы, как строительные, так и по уборке мусора, по её усмотрению». Чтобы обезопасить себя от сестринских усердий и хлопот по его поимке (ещё ведь и в милицию бросится с требованием объявить розыск!), Ковригин сочинил записку: «Антонина! Извини, но шашлыком заняться не смог, угли в сарае, сами разожжёте костер. Срочно вызван журналом. И ТВ. Предложена выгодная (и по деньгам) командировка в Аягуз. Вылетаю завтра утром. На две недели или на месяц». Этот Аягуз Антонина на карте и за месяц не сыщет. Сейчас там наверняка жара, пыль до небес и песок во ртах у населения. Хорошо хоть, если дыни к осени удались. Или арбузы. Или тыквы. В Аягузе Ковригин был однажды и то проездом. Исходит потом этот Аягуз в пустынном Семипалатинском Прииртышье, некогда российском, ныне иностранном. Кочевал там со своими юртами, людьми и табунами просветитель Абай, стало быть, теперь там Казахстан. Но мало ли где кочевали киргиз-кайсацкие орды, в добродетельную царицу каких Гаврила Романович Державин произвёл Фелицу-Екатерину. Их людей и в Москву заносило. Отчего же и Москва не в Казахстане? Щедрь были пламенные большевики и чиновники из

наркомата по делам национальностей, отрезая земли (урочища) Отечества, к историческим обретениям которого ни любви, ни интересов у них не было. В мозгах их бутетенила лишь политика. Как же они при этом обделили цыган? Те-то кочевали по тысячам Бессарабий! «Да что это я! – спохватился Ковригин. – Какие-то наркоматы в голову лезут! Оттягиваю отъезд, что ли? Ну уж, дудки!»

Направился Ковригин к троицкой остановке. Вблизи их поселка имелись две автобусные остановки. Одна, уже упомянутая, северная, – поближе к станции, у палатки с продавщицей Люсей, Белый или Рыжий налив, всучившей в мокрый день Ковригину две банки кальмара в собственном голубом соку («Пусть сестрица теперь угощается!»). Вторая – на окраине села Троицкого, это – к востоку от их посёлка. Еще раз взглянул Ковригин на родное поместье, ещё не разоренное и не опошленное, с печалью взглянул, а может, и с тоской, вдруг и не придется бывать здесь более, и пошагал к троицким воротам не раздумывая. Потом, правда, стал соображать, почему он не отправился в Москву привычной дорогой. «А чтобы не столкнуться с Антониной и с этой её... – явились объяснения. – Вдруг они уже набрали грибов или устали и пошли домой...» То есть, выходило, он сбегал огородами от мелодраматических и, возможно, слезливых разговоров. Ну и правильно, похвалил себя Ковригин, встреча с ними была бы мне сейчас противна, а так я всё дальше и дальше от леса с грибами... И тотчас же понял: Антонина Антониной, но куда важнее вот что – исход его из Зыкеева Урочища с путешествием к автобусам по глиняной, пусть нынче и сухой, тропинке вдоль забора Госплана вызвал бы мысли об исходе лягушачьей орды и видения мокрого дня со всеми физиологическими подробностями искалеченных телят на асфальте шоссе. А эти мысли и видения Ковригину сейчас были не нужны. Вот почему ноги сами повели его подальше от забора Госплана. И прочь из его головы земноводные! Однако у троицких ворот посёлка в остатках пруда у полуразрушенной плотины Ковригин увидел цаплю. Откуда она взялась? Пряталась, что ли, она в камышах от двух шумливо-неугомонных подруг? Или только что вернулась в сытные лягушачьи места? И ещё странность. На южном берегу бывшего пруда на месте лагеря упраздненных пионеров встали недавно виллы районных рублёвских персон, и вот от одной из них, в четыре крученых этажа с виндзорскими башнями, к водиче спускалась теперь лестница из белого камня (не из каррарского ли мрамора?), выложенная, видимо, на днях, на вымостке же у воды в шезлонге сидел господин с удочкой в руке, курил сигару и чаял движений поплавок. Или прибытия яхты из Марабельи.

А может, это сидел сам страшный и косматый Зыкей? Страшноты его были скрыты в тёплый день габардиновым костюмом и чёрным тулупом для подлёдной ловли от Версаче, а космы и лохмы сведены на затылке в тяжеленно-живописный пучок человека свободной профессии? Но какие такие у нас свободные профессии?

«К автобусам! К автобусам! – приказал себе Ковригин. – И не глазеть по сторонам!»

11

В автобусе Ковригин чуть было не задремал.

В чувство он был приведён тычком дамы, сидевшей у окна.

– Смотри-ка! – удивлённо-восторженно воскликнула она. – Босой! Босиком лупцует! Если уж из дурдома сбежал, мог бы хоть и бахилы спереть!

В дремоте же автобусной (или в дрёме? или во сне полусладком?) Ковригин увидел господина в габардиновом костюме и тулупе распахнутом, раскуривавшего на мраморной вымостке сигару. Господин, заметив прохождение Ковригина с рюкзаком за плечами, вскочил, выдернул удочку из воды и стал размахивать ею, то ли приветствуя Ковригина, то ли укоряя его, почувствовав в нём антиглобалиста. На крючке удочки господина дёргалась тропических размеров зелёная лягушка. Тогда Ковригин, наверное, и приказал себе не глазеть по сторонам.

Теперь же, после нового тычка в бок ручищей автобусной соседки, он был вынужден глазеть на обочину дороги. А уже миновали Любучаны и подъезжали к Симферопольскому шоссе.

– Босой! – не могла успокоиться соседка. – Босой! И даже без бахил!

– Босой, – согласился Ковригин.

Босой-то босой, но ведь при этом и козлоногий. И с крепкими копытами. А возможно, и с козлиными рогами, укрытыми кольцами густой шерсти. И голый, разве что с волчьим, да нет, скорее – с медвежьим мехом на бедрах. И со свирелью в правой руке. Но эти очевидности никак не волновали соседку Ковригина. Мало ли какие особи допускались к существованию на нашей грешной и чудесной планете, тем более вблизи здешних разумо-успокоительных лечебниц, да и залететь сюда могли и имели право черт-те кто из других не менее чудесных планет. Удивление соседки Ковригина, а вместе с ним и сострадание к бегуну вызывала лишь его босота. Простудиться он сегодня не простудится, но ведь ноги, бедняга, сотрет.

Тот ли это бегун, что промчался мимо него пару дней назад в ельнике, Ковригин определить с достоверностью не мог. Даже если бы босой мужик высказался сейчас и звуки его высказывания донеслись бы до Ковригина, они бы Ковригину не помогли. И не исключалось, что эллинские озорники и охальники, бражники из окружения Диониса были не штучного, а серийного воплощения. А может, мужик и впрямь сбежал из Троицкой больницы, в погоню же за ним не бросились по простейшей причине: он всех, и больных, и медицинский персонал, и силовых санитаров извел своей игрой на свирели, и в возврате его на белую койку ни у кого не возникло нужды. Кстати, на этот раз Ковригин не ощутил, ни на мгновение даже, панического страха, а потому суждение о босоном мужике как о беглеце из дурдома могло оказаться справедливым.

Соседка теперь уже тараторила, охала и рассказывала жуткие столбовские истории, Ковригин в диалог с ней не вступал, а лишь кивал из вежливости, порой и невпопад.

А босой мужик, между прочим, от автобуса не отставал. Электричка на Москву, спасибо субботнему дню, прибыла на Столбовую полупустой, и Ковригин вольно расположился у окна. И в электричке он стал подрёмывать. Глаза открывал лишь при остановках поезда и видел одно и то же: по перрону мимо его вагона пробежал козлоногий мужик со свирелью в руке и уносился в сторону электровоза. Так было на станции Львовская, в Гривне, в Подольске и в Щербинке. Предположить, что он передвигается в Московском направлении в одном с Ковригиным составе, было бы нелогично. Как же он тогда бы оказывался позади Ковригина? Оставалось думать, что он, учитывая расписание поездов, пассажирских и товарных, передвигался именно по железнодорожному полотну (хотя почему не по асфальту автострад?), перескакивая своими, не снабженными даже бахилами, конечностями со шпалы на шпалу и

все же чуть-чуть отставая на перегонах от электрички Серпухов-Москва. Конечно, в голову Ковригина приходила притча о братьях черепахах, но тогда бы в эстафетной смене козлоногих двойников пришлось бы отыскивать сложный и тайный смысл, а заниматься этим Ковригину было лень.

Да и что тут разгадывать, подумал Ковригин. Бежит себе и бежит, значит, ему надо. А то, что долго бежит, да ещё и почти не отстаёт от электрички, так не в Греции ли воспитались первые марафонцы?

С тем Ковригин и перестал смотреть в окно.

А на Курском вокзале в толпе Ковригин бегуна уже не увидел. Возможно, тот продолжил движение в Москве по крышам автомобилей. И возможно, поспешал он на Большую Никитскую к бронзовому Петру Ильичу, где в Консерватории совершенствовался в игре на духовых инструментах.

Дом в Богословском переулке, с обителью Ковригина на четвёртом этаже, стоял на месте, недалеко от Палашёвского рынка. Никуда не переехал и, видимо, и слава Богу, никому за четыре месяца не был продан. Знакомый литератор в своём романе сообщил читателям, что в Палашёвском переулке и возле него некогда обитали исключительно палачи. Ковригину пришлось разъяснять литератору, что он не прав, что в Бронной слободе, то есть на нынешних Бронных улицах, Большой и Малой, прозываемых шутниками – Бронежилетными, проживали и трудились оружейники, палашёвцы же не были палачами, а выделявали палаша.

Но всё это неважно. Главное, что при сегодняшних московских катавасиях дом стоял на месте и Ковригину было где ночевать. На своём же месте за стеклянным оконцем сидела консьержка и домоправительница Роза, то ли татарка, то ли башкирка, в прошлом, по её словам, – балерина. Фамилия её была Нуриева, а потому хотелось верить в то, что она не выводит легенды из художническо-коммунальных фантазий бывшей дворничихи, а и вправду танцевала с самим Мишей Лавровским. Ковригин с Розой был всегда любезен, подносил ей в два-три календарных праздника цветы или конфеты (иногда под Новый год, по настроению, – и бутылки шампанского), Розой же был признан образцовосознательным жильцом и джентльменом.

Сейчас они обменялись с Ковригиным осенними комплиментами («Ты все цветешь!», «Будто плод авокадо. Или манго», «А ты, прямо, Шварценеггер» и т. д.), и Роза сказала:

– Вся летняя почта твоя у меня, как и договаривались. Держи пакет.

И протянула Ковригину пластиковый пакет с конвертами и бумажками в циферках, наверняка со зловердностями платёжных требований.

– Дом-то стоит, – сказал Ковригин. – Не сгорел и не взорван.

– Кому нужно его поджигать и взрывать? – удивилась Роза.

– И никого в нём не убили?

– С чего это ты вдруг, Александр? – Роза взглянула на Ковригина чуть ли не испуганно. – Откуда у тебя такие мысли? Никого не убили.

– Глупо пошутил, – сказал Ковригин. – Одичал в лесу. Давно в Москве не был. А в телевизоре всё время кого-нибудь убивают или взрывают.

– Больше так не шути. А то напророчишь.

– Слушаюсь. И больше не буду.

Квартиру следовало немедленно проветривать, да и уборку в ней неплохо было бы провести решительную. «С уборкой повременим, – постановил Ковригин. – Надо успокоиться и решить, что делать дальше». А дальше, а дальше... Что делать дальше, придумать он никак не мог. Знал одно – чего не делать. А именно: избежать встречи с Антониной и никаких переговоров с объяснениями с ней не вести. Стало быть, придётся уезжать из Москвы. Куда-нибудь. И так, чтобы Антонина не смогла найти его с намерением мириться. Но куда и

к кому уезжать? Не в Аягуз же! А ведь норы сестрицы может погнать её и в Аягуз. Ковригин нервно ходил по квартире и повторял про себя: «Как я зол на неё! И на эту... Как я зол! Как я зол!» Сообразил вскоре, что те же слова произносил до него некий литературный персонаж, вызывая улыбки публики. Ну, конечно. Персонаж этот существовал в водевиле Антона Павловича Чехова «Медведь». Ковригину и самому стало смешно. И стыдно стало. Но желания встретиться с Антониной не возникло.

Ковригин включил телевизор. Показывали Московские новости. Ученая дама пальцами с французским маникюром держала зелёную лягушку, чрезвычайно похожую на ту, что часами раньше выловил удочкой в водах дачного пруда господин с сигарой во рту, но мелкую, размером со спичечный коробок, и сообщила зрителям, что эта зелёная красавица в мгновения ужаса (а что в нашей жизни – не ужас?) вынуждена издавать нервные звуки, способные разрушить барабанные перепонки человека, по стечению обстоятельств оказавшегося рядом. Теперь эта удивительная красавица и певунья, как и многие земноводные, оказалась на грани исчезновения, а потому нынешний год зоопарком объявлен Годом Лягушки, крысы же вместе с тараканами выживут и без опеки общества.

Ковригин в раздражении нажал на кнопку пульта. Дама с зелёной красавицей исчезли. «Что они нагружают меня всеми этими лягушками!» – взволновался Ковригин.

Холодильник, естественно, был пуст. А кто (или что?) может быть злее голодного мужика?

Проживали в Москве и на дачах экстренной досягаемости приятельницы Ковригина, разных для него значений, способные его принять и накормить. Но до их прелестей, столов и яств надо было ещё добираться. К тому же Антонина, сообразительная и следопыт с юннатских пор, могла отыскать его и в дальних пещерах. «А не укрыться ли у Лоренцы Козимовны? – подумал Ковригин. – Были вроде бы какие-то адреса в её визитке... И у неё дирижабельный ресторан...» Но Лоренца Козимовна Шинэль и её дирижабельный ресторан сейчас же были отвергнуты Ковригиным из соображений безопасности. К тому же Ковригин вспомнил, что дирижабель-ресторан Лоренцы назывался «Чудеса в стратосфере», и не исключено, что в меню там водилась лишь тюбиковая жратва космонавтов.

«На всякий случай минут за пять просмотрю летнюю почту, – решил Ковригин, – и схожу отобедать/отужинать к Никитским воротам. Там и шашлычная, и арабский кабак, и „Рюмочная“... Ходу-то всего пятнадцать минут!» Ковригин, случалось, проводил занятия в ГИТИСе и в Калашном переулке у журналистов и изучил Никитскую кулинарную географию.

Из пакета, врученного ему Розой, ничего примечательного на стол не вывалилось. Хотя... Хотя адрес отправителя одного из конвертов Ковригина удивил. Большая Бронная. РАО. То есть бывшего ВААП. Агентства по охране авторских прав. Нынче – РАО, Российского авторского общества. Им-то чего от него, Ковригина, надо? Из послания выяснилось, что РАО предлагает Ковригину А. А. вступить с ними в деловые отношения в связи с тем, что в городе Средний Синежтур в театре имени В. Верещагина поставлен спектакль «Маринкина башня» по пьесе Ковригина А. А. о Марине Мнишек, а РАО не имеет полномочий отстаивать авторские права и интересы Ковригина А. А. без его распоряжений.

Вот тебе раз!

С места Ковригин сдвинуться не мог.

Чудеса какие-то! Или бред какой-то!

Город Средний Синежтур. Спектакль «Маринкина башня». По пьесе Ковригина А. А.

О городе Среднем Синежтуре Ковригин вроде бы слышал. Были ещё города рядом – Верхний и Нижний Синежтуры. Но каким макаром могла появиться в этих Синежтурах его студенческая пьеса? Если всё это, конечно, не розыгрыш. Никак не могла. Стоп! Стоп! Лет пять назад заезжал из Перми погостить в Москву однокурсник Ковригина Юлик Блинов.

Юлий Валентинович, естественно. Тогда он плакался, говорил о своей горестной судьбе в захолустье и выпрашивал у Ковригина какую-нибудь завалящую рукопись для затеваемого им альманаха. «Ничего у меня нет!» – восклицал Ковригин. «А помнишь, у тебя была пьеса с посвящением некоей Н. С. о Марине Мнишек?» – не мог успокоиться Блинов. А сидели они в тепле и в дружеском застолье. «Нет у меня никакой пьесы! – сердился Ковригин. – И тем более нет никакого посвящения! Я их сжег! Я им устроил аутодафе! Перед Историческим музеем! И пепел развеял с Останкинской башни!» – «Э-Э, брось! – возражал Блинов. – Ты не из тех людей, которые что-нибудь сжигают! Давай мне пьесу! Без посвящения! Его-то и надо было сжечь! Мне не хватает текстов. А цель благородная – публиковать молодых. Тут им впридачу именитый москвич в самый раз!» – «Это я-то именитый? – принимался скромничать Ковригин. – С моими-то фитюльками?» – «Именитый, именитый!» – спешил его уверить Блинов. В конце концов Ковригин великодушно расслабился и выискал в завалах пьесу. Посвящение Н. С., естественно, было вымарано. Но ни о какой публикации пьесы и ни о каком альманахе Блинова Ковригин позже не слышал. Но, может, альманах всё же вышел, и его пьеса на ножках тоненьких добрела-таки до Среднего Синежтура?

Вот уж тогда действительно случились бы чудеса!

Хотя чему радоваться-то? Пьесу свою Ковригин помнил плохо. Вполне возможно, Натали Свиридова была права: его драматургический опус вышел чудовищным. А теперь еще и среднесинежтурские таланты и без того слабое сочинение могли перелицевать по меркам нынешней моды, по Желдаку какому-нибудь, дочь сандомирского воеводы переодеть, скажем, в неземные балахоны а ля Аватар, ну и прочее, а на афишах прославить имя автора – Ковригина Александра Андреевича.

Нет, надо без всяких наделений полномочиями РАО самому ехать в Средний Синежтур и всё увидеть своими глазами. «Вот тебе и решение! – обрадовался Ковригин. – И пусть она там меня отыщет! В Средний Синежтур! И немедленно!»

И немедленно! То есть, конечно, не в сию же минуту. Не на голодный же желудок. Но уж завтра – это точно! С утра дозвониться до театра имени Верещагина (надо полагать, живописца, а не каспийского таможенника), завтра, правда, – воскресенье, но в театре-то кто-то должен быть и в воскресенье, выпросить подробности (вдруг взяли пьесу совсем другого Ковригина) и условия проживания в Среднем Синежтуре. И, коли пьеса там его, ехать. Хорошо бы, конечно, получить от какого-либо издания командировочные, а нет так нет, можно потратить и свои финансы. Хотя бы из любопытства.

Но тут явилось соображение, поначалу даже испугавшее Ковригина. Ну, если и не испугавшее, то сильно озадачившее его.

А вдруг альманах Юльки Блинова вовсе и не выходил, а дело было в новой затее проказницы Лоренцы Козимовны Шинэль? С неё станется. Если, конечно, она существовала неделю назад и теперь продолжает существовать. Не съездила ли она курьером от агентства «С толстой сумкой на ремне» в славный город Средний Синежтур и не доставила ли в театр имени Верещагина пьесу некоего московского литератора Ковригина? И не съездила даже (доберись на её серебристом лендровере лесами и мокрыми дорогами до Синежтуров!), а слетала туда, хотя бы и на помеле? «Нет, у неё был пупок, – принялся успокаивать себя Ковригин. – Настоящий пупок настоящей земной женщины!» И сейчас же проворчал: «То же мне – научно-достоверное доказательство отсутствия помела!» Другое дело, зная обстоятельства нашей театральной жизни, пусть в этом случае и провинциальной, но потому, впрочем, и менее степенной и более отчаянной, нежели в столицах, следовало предположить, что рукопись пьесы должна была бы доставлена в Средний Синежтур не менее чем за полгода до премьеры. А Лоренца Козимовна Шинэль возникла в жизни Ковригина неделю назад. Мысль об этом отчасти успокоила Ковригина. Но тотчас же и сорвалась с места. В записке Лоренцы, сожженной Ковригиным (не справедлив был в своих суждениях Блинов, кое-что Ковригин

всё же сжигал), среди прочего были слова: «Многое из того, что я слышала о тебе, подтвердилось...». От кого и что слышала? И зачем слушала? И что подтвердилось? И давно ли и долго ли слышала? Выходило, что, если признать реальность записки Лоренцы и реальность самой Лоренцы, как он, исходя из своей медицинско-мифологической доктрины, пытался признать реальность её земных пупка и лона, его, Ковригина, личностью по необъяснимым для него причинам интересовались неизвестные ему люди (существа), и среди них так называемая Лоренца Козимовна Шинэль.

Нет, постановил Ковригин, и всяческие мысли о Лоренце Козимовне должны быть в нем высмеяны, высечены розгами, а потом и испепелены.

Но что было терпеть до воскресенья? Чем субботний день в театре хуже воскресного?

Ковригину повезло. Давний его знакомец Михаил Семёнович Провоторский, деятель Федерального театрального общества, оказался в Москве и дома, российский справочник лежал у него под рукой, и Ковригин был снабжен номером телефона дирекции театра имени Верещагина.

В Среднем Синежтуре к телефону подошли не сразу. Но подошли.

– Вылегжанин у аппарата, – услышал Ковригин.

Ковригин представился. Спросил:

– Вы из администрации?

– Нет, – рассмеялся Вылегжанин. – Я – пожарный.

– У вас – пожар? – испугался Ковригин.

– У нас каждый день пожар, – серьезно произнес Вылегжанин. – А из администрации сейчас никого нет. Театр на выезде. На три дня. В Березниках и Соликамске. – И что же вывезли? – с важностью московского управителя культурой поинтересовался Ковригин.

– Естественно что. «Польское мясо».

– Какое такое польское мясо? У вас гастроном, что ли? – Спектакль такой! – осердился Вылегжанин. – «Польское мясо». На афише – «Маринкина башня», а в народе называют «Польское мясо». Хороший спектакль, веселый. Билеты нарасхват. Девушки молодые, красивые. Пляшут и поют. Медь сверкает. Там и про польское мясо, и про коньяк «Камю». И в буфете коньяк, но наш, синежтурский.

– А автор кто? – чуть ли не заикаясь, спросил Ковригин.

– Из Москвы, знаменитый, – это Вылегжанин произнес с гордостью. – Потому и поставили. Ковригин вроде бы...

– Спасибо, – прохрипел Ковригин и осел.

Стало быть, медь сверкает и коньяк синежтурский на сцене и в буфете, и буфет наверняка в виде Маринкиной башни.

Ковригин набрал номер Дувакина.

– Жиры набираешь на солнце? – спросил Дувакин.

– Это ты, наверное, шашлыками обедаешь сейчас у Соцкого! Я-то в Москве.

– Это я в Москве, – сказал Дувакин. – Никуда не поехал. А ты на даче в весёлой компании.

– Сбежал, – сказал Ковригин.

– С чего бы?

– Долгий разговор. А я голодный.

– И я голодный.

– Ну, и сейчас же поспешай в «Рюмочную». Знаешь, где «Рюмочная»?

Дувакину ли не знать, где на Никитской «Рюмочная»? Он и учился в ГИТИСе, и почти тывал там лекции.

Ковригин добрался до «Рюмочной» первым. Взял рыбную солянку, свинину отбивную с жареной цветной капустой и кружку холодного «Невского». Дувакин, известный неторо-

пыга, и впрямь, видимо, сидел в своем московском одиночестве оголодавший, явился за столик к Ковригину минут через пятнадцать с тарелкой тушеных бобов и рубленным бифштексом под яйцом – напоминанием об учрежденческих и заводских столовых шестидесятих годов, ретро-блюда имели в «Рюмочной» успех.

– К этому ко всему, – сказал Ковригин, – полагается запотевшая бутылка «Ржаной» и селёдка с отварным картофелем и колечками лука.

Слова его резких возражений Петра Дмитриевича Дувакина не вызвали. И «Ржаная» была доставлена из холодильного шкафа буфетчицей Полиной.

– Игоря сегодня нет? – спросил Дувакин.

– И Игоря Андреевича нет, и Антонины Викторовны нет, – сказала Полина, – хозяева отдыхают.

И в «Рюмочной» была Антонина. Дувакин вздохнул. Будто бы и не рад был своему вопросу...

Наконец, организмы приятелей позволили допустить антракты в усердиях глухоты и немоты.

– Ты слышал о городе Среднем Синежтуре? – спросил Ковригин.

– Слышал кое-что, – кивнул Дувакин, вытирая салфеткой губы.

– Ну, так вот, – начал Ковригин и рассказал Дувакину о депеше из РАО и своём звонке в театр имени Верещагина. Лоренца Козимовна Шинэль Ковригиным, естественно, не была упомяната. Да и с чего бы упоминать её?

Дувакин поначалу сидел отрешённо-сытый, но потом заулыбался, а при пересказе Ковригиным телефонной беседы с патриотом театра и спектакля «Маринкина башня» Вылегжаниным и вовсе принялся похихикивать.

– Чему ты радуешься? – обиделся Ковригин. – Какие тут могут быть поводы для смеха?

– Ты пьесу-то свою хоть помнишь? – спросил Дувакин.

– В том-то и дело, что почти и не помню! – воскликнул Ковригин. – И называться-то «Маринкиной башней» она не должна была бы. А как называлась, убей Бог, не помню. Два раза перерывал бумаги студенческих лет, а на пьесу не наткнулся. Скорее всего, я отдал тогда приставале Блинову, чтобы отвязался, её единственный машинописный экземпляр. Одна надежда – рукопись отыщу. Или сама найдётся. Но то, что в ней не было никакого польского мяса и медь не сверкала, ручаюсь. А пели и плясали – это не у меня, а у Глинки и у Мусоргского.

– Про медь-то сверкающую, – рассмеялся Дувакин, – ты услышал от пожарника! От пожарника! Если только директор театра из страха перед тобой не прикинулся пожарником. А пожарник-то тебе и про брандсбойты, и про огнетушители мог рассказать. И польское мясо в его понимании – ещё неизвестно что. А может, и спектакль ставил бывший пожарник...

– Так ты считаешь, – спросил Ковригин, словно бы пребывая в неразрешимых и удручающих его сомнениях, – мне всё-таки стоит съездить в Средний Синежтур? – И думать нечего! – с воодушевлением воскликнул Дувакин. – Обязательно ехать! И расстраиваться тебе не из-за чего! Тебя, пьесу твою пропавшую поставили! Даже если там есть и мясо польское, и медь сверкает, и стриптиз, и девушки с весёлыми ногами откалывают канкан, ехать непременно! Это как раз годится для твоего же эссе о подлинной Марине Мнишек или хотя гипотезе-фантазии о ней! Раз есть теперь спрос на мюзиклы с Мариной Мнишек, значит, есть и интерес к ней как к исторической особе!

«Самый момент, – подумал Ковригин, – Петя созрел...»

– Уговорил. Завтра же и поеду, – доводы разумнодальновидного редактора популярного издания «Под руку с Клио» будто бы сломили, наконец, сомнения Ковригина, одолели крепость. – Узнаю утром, как удобнее – самолётом или поездом с Ярославского вокзала, и

поеду... Да. Пётр Дмитриевич, а не смогли бы вы оформить мне командировку в Средний Синежтур?

Дувакин сразу же стал государственно-озабоченным, заёрзал на пластиковом сиденье.

– Видишь ли, Шура...

«Сейчас скряга и экономер примется жаловаться на скудость журнального бюджета, на падение курса доллара, на засуху в Алтайском крае, на гибель вробьёв под Вологдой и на непредвиденные шалости течения Гольфстрим...»

– Я не корысти ради, – сказал Ковригин, – а ради скорейшего удовлетворения культурологических интересов наших с тобой читателей... Но если Гольфстрим и вправду ведет себя непотребно, то, конечно, могу съездить и на свои...

– Ладно, – сказал Дувакин. Финансисты, налоговые надсмотрщики, пассивы, активы и ажурные прекратили в нём пререкания, отматерились, утёрли слёзы с соплями и разлетелись по своим насестам. – Поскребём по сусекам. Но тебе придётся подождать до понедельника.

– Не могу, – сказал Ковригин. – Вышлешь мне в Синежтур деньги и командировочную бумажку. Я бы и сегодня уехал. Но надо собраться. Переночую и с утра – из дома вон! А то ещё нагрянет и нагонит...

Слова вылетели из Ковригина неосторожные, но для Дувакина ожидаемые и необходимые. Возможно, болтовню Ковригина о повороте или даже кувырке («какой репримант неожиданный!») в судьбе сочинения, порожденного наглостью и игрой гормонов двадцатилетнего оболтуса, он выслушивал из вежливости, оживился лишь, узнав о суждениях и оценках просвещенного пожарника Вылегжанина, а интересовало его одно – что случилось у Ковригина с Антониной, как она и кого привезла гостем (или кем там?) на дачу, почему сбежал от неё (от них) Ковригин и почему он намерен бежать на край света или хотя бы в Средний Синежтур, к мюзиклу со сверканием меди, не дожидаясь правового вмешательства юристов Авторского Общества?

– Ничего особенного не произошло, – мрачно сказал Ковригин, – обычные родственные дразги. Привезла с собой новую подругу, с ипподрома, что ли, дизайнершу, дуру еловую, кстати, оказавшуюся двоюродной сестрой или племянницей, я так и не понял, Натали Свиридовой, и принялись они хозяйничать, работу мне сорвали, дом решили новый ставить, а старый снести, сад выпилить, ну я и вспылел. Пусть делают что хотят. Жаль, что ты не собрался к нам по грибы, при тебе они на меня не посмели бы наезжать...

О том, что Антониной был обещан ещё один гость (а может, гости), неизвестно, какой породы, и неизвестно, каких помыслов, Ковригин умолчал. А Дувакин, похоже, успокоился и был готов, Ковригин это почувствовал, приободрить его увещеваниями доброго дядюшки и выступить дипломатом-миротворцем.

– Не хочу её видеть и не хочу выслушивать её объяснения, – сказал Ковригин. – В ближайшие дни... Все книги и бумаги из твоей коробки я завёз в Москву... Оставил записку, мол, должен срочно вылететь в командировку в Аягуз.

– Это в какой Аягуз? – спросил Дувакин. – Это который на Турксибе, что ли? И почему именно в Аягуз?

– В Аягузе она меня не отыщет, – сказал Ковригин.

Выпили молча. К удовольствию Ковригина, Дувакин вопросов об Антонине более не задавал.

– Вот что, Петя, – сказал Ковригин, – я уверен, что, не обнаружив меня в Богословском переулке, она будет обзванивать многих. Одному из первых позвонит тебе. Прошу, ни про какой Средний Синежтур, ни про какой спектакль «Маринкина башня» или даже «Польское мясо» ты ей не говори. Если спросит про Аягуз, скажи, да, что-то про Аягуз он, то есть – я, упоминал, а от кого он, то есть – я, поехал, толком не знаешь, вроде бы от какого-то из

каналов ТВ. Я понимаю, как трудно будет тебе врать Антонине или, скажем по деликатнее, вводить её в заблуждение, но очень прошу!

– А вдруг она бросится в Аягуз? – сказал Дувакин. Сказал с явным состраданием к неизбежным хлопотам тонкочувствующей и совестливой женщины. Да и наверняка её благополучие и лад в душе Дувакину были важнее благополучия и тем более нервических трепыханий её шалопая-брatца.

– Не бросится! – резко сказал Ковригин. И добавил: – Я успокоюсь и сам с ней свяжусь. И тебе сразу же позвоню из Среднего Синежтура. Сообщу адрес для перевода командировочных. А теперь давай выпьем за Аягуз!

– За Аягуз так за Аягуз, – вздохнул Дувакин.

12

Телефоны Ковригина, и сотовый, и настольный, обречённый ходом времени к вымиранию, молчали.

И вечером, после сидения в «Рюмочной», молчали. И ночью. И воскресным утром.

Ковригин даже опечалился.

Но из-за чего было печалиться? Разве только из-за своего эгоцентрического ребячества. Обидели бедного мальчика. Украли копеечку... Впрочем, в классическом случае именно мальчишки обидели юродивого. А из Ковригина вряд ли бы получился юродивый. Да и никаких резонов к тому не имелось. Хотя жизнь ещё не вся совершена, мало что случится в датском королевстве... А Антонине, выходит, на даче сейчас было хорошо, ничто её не тяготило, и этому следовало только радоваться. Ковригин произвёл звонки и выяснил, что авиарейса на Средний Синежтур сегодня нет, а поезд с Ярославского вокзала отходит туда в семь вечера, билеты в кассах пока есть.

Собрал вещи, взял, что попрличнее, и то, что, по установлению эстеток, ему шло, и то, что, по их же установлениям, не стало в этом сезоне дурным тоном и не было опошлено сливками корпоративных вечеринок и клубных гулянок. Все же ему предстояло посещать театр имени Верещагина. А может, и пить синежтурский коньяк в буфете. Из книг положил в чемодан том Костомарова и козляковское, с Маринкиной башней на обложке, жизнеописание дочери сandomирского воеводы. Подумав, добавил к ним две тетрадки из чердачно-отцовской связки, вдруг в Среднем Синежтуре придется маяться в безделье и одиночестве.

Вчерашнее пожелание устроить уборку в квартире, к радости пожелавшего, само по себе отменилось. Затхло-застарелый (с весны!) беспорядок должен был убедить чистоплотную Антонину в вынужденности поспешного отъезда брата в Аягуз. То есть теперь в натуре Ковригина кувыркались противоречия. Минутами раньше он положил радоваться тому, что на даче и без него Антонине хорошо, и в то же время ждал звонка или даже аварийного приезда сестры (ключи от его квартиры у неё были), притом ждал то ли с нетерпением («совсем ей на меня наплевать!»), то ли с приготовленным возмущением самодержавной личности.

«Нечего ждать! – сурово приказал себе Ковригин. – Сейчас же на вокзал за билетами! И в дом до отъезда – ни ногой!»

В Богословский переулок до отъезда – ни ногой, это для того, чтобы и днём, если всё же она ринется в погоню, не смогла бы застать его дома. Этого ему не надо! И не должна она обнаружить никаких указаний на интерес Ковригина к городу Средний Синежтур и к процветающему в нём (но не исключено, что и прогорающему) театру имени Верещагина.

А никаких указаний-свидетельств и не было. Кроме послания из Авторского Общества. А потому и послание это было решительно упрятано в дорожном чемодане.

Подмывало Ковригина позвонить в Пермь благодетелю юных дарований Блинову. И разузнать у него кое о чем. Но звонить передумал. Антонина была знакома со многими однокурсниками брата, естественно, и с Блиновым, знала о степени их приятельства, и, коли бы предприняла поиски брата, непременно набрала бы и пермский номер Блинова, а Блинов, балабол, хорошо хоть безвредный, и бахвал, конечно бы, просветил милую, несравненную Тонечку о своем шикарном альманахе и спектакле «Маринкина башня» в Среднем Синежтуре. А как бы стала действовать Антонина дальше, Ковригин мог догадаться... Даже и одного варианта её действий Ковригину было достаточно. О том, что добыть какую-либо информацию от Блинова не удастся, приходилось сожалеть, но Ковригин, согласившись с доводами редактора Дувакина («да хоть бы и мюзикл, да хоть бы и стриптиз со сверканием меди, всё это – в копилку твоего эссе о Марине Мнишек!»), посчитал, что в любом случае

он проедется в Средний Синежтур не без пользы для себя. Ко всему прочему в нем оживал путешественник, Марко Поло и Паганель с Бронных-Бронежилетных улиц, четыре месяца сидевший сиднем в лесу.

«Всё, – сказал себе Ковригин. – Готовность номер один. Надо присесть на минуту и выйти!»

Присел. Направился было к двери, но вжитая в него семейная привычка бытовой безопасности заставила Ковригина совершить обряд предотъездного осмотра квартиры. Проверить, перекрыт ли газ, не воняет ли где им, отключены ли электрические приборы, не греется ли в ванной утюг, не утекает ли там вода, не оставлена ли на подоконнике недотлевшая сигарета. Ну, и так далее. В обряд этот входила и обязательная инспекция телевизора. Пусть сейчас он уже не светится и не рекламирует средство от поноса, но вдруг и в нем всё же надо что-либо отщелкнуть на всякий случай. Кнопка под пальцем Ковригина заставила телевизор на этот раз контрольно засветиться и зазвучать. Ковригин полагал, что на три мгновения. И надо же было Ковригину включить средство информации именно в минуту, когда левая рука его уже подняла чемодан.

Строгая женщина в милицейской форме укоряла с экрана беспечно-безответственных гуляк и повес. Понятно, жизнь в стране стабилизируется. Наваждение Смуты из неё потихоньку уползает. Возникает, и это замечательно, множество поводов для плодотворного проведения досуга. Но беспечность, в пору повсеместного увлечения попсой и китайской пиротехникой, может приводить к печальным событиям в нашей интересной жизни. У многих на памяти сокрушительный пожар сухопутного шестипалубного лайнера-ресторана «Адмирал Лазарев». Тогда, если помните, во время одной из интимно-чарующих корпоративных вечеринок на всех палубах сухопутного гиганта полыхнуло от неумеренного употребления шутих, петард и ракет. При этом на всех палубах ещё и зажигали публику одноразово-приглашенные звёзды. Хорошо хоть тогда обошлось без жертв. Однако урок адмиральных пого-рельцев не пошел впров. Вчерашней ночью неприятное происшествие случилось неподалёку от бывшей стоянки «Адмирала» на берегу всё тех же волжских вод, насосами Канала пригоняемых в столицу ради утоления наших с вами жажд и обеспечения Москвы статусом порта пяти морей. Пострадал популярный в народе дирижабель-ресторан «Чудеса в стратосфере». Сначала он вспыхнул, потом взлетел, и в воздухе его разнесло в клочья, опавшие в воды Канала. По предварительным данным, к счастью, гостей и obsługi в нём не было. Однако не исключено, что внутри дирижабеля находилась его владелица. Личность владелицы и причины возгорания устанавливаются следствием. И сейчас же возникли на экране номера контактного и справочного телефонов.

Рука Ковригина, опустившая чемодан на пол, забралась в карман пиджака в поисках мобильного телефона. Тут же руке был отдан приказ: из кармана удалиться. Ни в каких контактах и справках в связи с возгоранием дирижабеля-ресторана «Чудеса в стратосфере» у Ковригина необходимости не было, рука полезла в карман сама по себе. Ей следовало объявить благодарность. Она напонила Ковригину о его же решении от мобильного избавиться. Если бы Антонина обнаружила его здесь, в Богословском, ей в голову полезли бы фантазии по поводу пропавшего братца одна невероятнее другой. А держать телефон при себе в ожидании, что он разрядится, тоже было бы глупостью. А потому по нему следовало долбануть пару раз кирпичом или булыжником и отправить его осколки в мусорный ящик. В Средний же Синежтур отъехать со свежим сотовым.

Билет на Ярославском вокзале Ковригин приобрел быстро, чемодан оставил там на хранение и был намерен побродить с неторопливым разглядом знакомых домов по сокровенным улицам и переулкам, о чём мечтал на даче. Не исключались при этом заходы в питательно-питейные заведения, из уютных, предпочтительно без официантов. Начать постановил с Замоскворечья. И вот ехал, ехал себе по Кольцевой в легкой задумчивости туманно-

перламутровых (не от мыльных ли пузырей?) синезтурских видений и вдруг понял, что следующей станцией будет вовсе не ожидаемая им «Новокузнецкая», а «Новослободская», а там – переход на линию к Савёловскому вокзалу. «Ну ладно, – успокоил себя Ковригин, – коли сам себя привёз на „Новослободскую“, часок можно будет потратить на путешествие к водам Канала...» В летнюю пору средних классов, на каникулах, в гостях у яхромских родичей Ковригин в обществе множества двоюродных сестер и братьев часами бултыхался в этой буро-полупрозрачной воде и сейчас рад был бы оказаться в Яхроме, но тогда он ни до какого Синезтура и за век бы не добрался. Но теперь поездку в Средний Синезтур отменить он не желал.

А потому вышел из дмитровской электрички на платформе «Речник», у запани с яхт-клубом, то есть на северной окраине города Узкопрудного, дирижабельной столицы России, где в тридцатые годы двадцатого столетия свои галактические фантазии пытался превратить в заводские изделия приглашенный из Италии военными стратегами романтик Нобиле, сгинувший на время в ледяных просторах северного приполярья, но потом обнаруженный.

Не сходя с платформы, Ковригин поинтересовался у мужика в ватнике и с ведром яблоч, где расположен ресторан-дирижабель «Чудеса в стратосфере».

– Он не расположен, – сказал мужик. – Он располагался. Ночью сгорел и в воздухе – вдребезги! Хозяйку жалко. Замечательная была женщина. На неё ходили смотреть. Красавица. Водяное растение...

– Из русалок, что ли? – спросил Ковригин. – С хвостом?

– Почему из русалок? – чуть ли не обиделся мужик. – Почему обязательно раз красавица, значит – из русалок? Не все красавицы из русалок. И не все русалки вознаграждены хвостами.

– Водяное, стало быть, растение...

– Да. Кувшинка, лилия, лотос – разве не водяные растения? – сказал мужик.

– Ну да, ну да, – закивал Ковригин. – Лотос, белая нежная лилия, кувшинка, кубышка...

– Лоренца Козимовна, – явно укоряя Ковригина, покачал головой мужик, – не была кубышкой.

– Лоренца Козимовна? – будто бы удивился Ковригин.

– Лоренца Козимовна. А что? – сказал мужик. – И по-другому звали. Но и – Лоренца Козимовна.

– Вы её знали?

– Немного, – сказал мужик. – Заходил к ним. Подкармливали. Медузами в маринаде. Со сметаной. Деликатес.

– Из тюбиков? – спросил Ковригин.

– Почему из тюбиков? Из банок. Стекольных, – сказал мужик. – Добрая женщина. Завидовали ей. Из зависти и подожгли. Сама не могла не доглядеть. Хозяйственная и дотошная. Или конкуренты...

– Надо же... – пробормотал Ковригин.

Ковригин чувствовал, что он мужику не слишком приятен, возможно, отчего-то и подозрителен, да и вообще разговор с незнакомцем для того – дело пустое, однако он его не обрывал, словно бы ожидая от Ковригина неведомо-увлекательного, а может, и нелепого вопроса, давшего бы ему повод выговориться не об одном лишь погоревшем ресторане и его хозяйке, но и о многом другом, в частности, о стабилизационном фонде, об инновационной политике, о происках Саакашвили и Кандализы Райс и о продаже «Спартак» футболиста Торбинского.

– Спасибо, – сказал Ковригин, – за то, что вы уделите мне время. Пойду-ка я к берегу, посмотрю...

– Тебя туда не пропустят. Там оцепление.

- А может, и пропустят...
- Ты – сыщик? – спросил мужик.
- Сыщик, – вздохнул Ковригин. – В своем роде...
- Частный, что ли?
- Вот именно, что частный...
- Ну, тогда давай визитку, – сказал мужик.
- Это зачем?

– Ну как же! – мужик удивился простоте Ковригина. – Частный сыщик всегда суёт гражданину визитку, мол, если что вспомнишь или заметишь, или версия есть, позвони. И ещё – просит сходить за водой, а сам пристраивает жучок с видеокамерой. Считаю, что я пошел за водой.

- И какие же у вас версии?

– Тут и постовому понятно, – сказал мужик, – поджог связан с профессиональной деятельностью хозяйки. Погубители – либо завистники, либо конкуренты, недовольные возрождением отечественного дирижаблестроения.

- Это – на виду, и для постового, – сказал Ковригин, – а ваши-то версии?

– Хе-хе! – хмыкнул мужик. – У меня-то есть соображения. Но соображения, сам знаешь, не цветут без вознаграждения.

Ковригин нахмурился. Сказал:

- Нет у меня ни визиток, ни жучков, ни вознаграждений.

– Значит, ты и не частный сыщик! – мужик, похоже, обрадовался. – Значит, ты и есть один из погубителей. И тебя самого сыщут. И не жди удачи.

- Сколько стоит ваше ведро яблок? – спросил Ковригин.

– Антоновка, – сказал мужик. – Без ведра – двести. С ведром, учти – эмалированным, хоть бы и с дырой, – двести пятьдесят.

– Вот вам триста рублей, – протянул бумажки Ковригин. – А яблоки с ведром оставьте себе.

– Премного благодарен, ваше благородие, – согнулся в полупоклоне мужик, – а то ведь и не знал, что делать. Зверушки у меня на ферме сидят голодные. Стонают. Головами вертят. Теперь покушают. Благодаритель вы ихний...

- Какие зверушки?

– Улитки виноградные, ну и зелёные лягушки. Лучших сортов. А мои соображения вы хотите теперь услышать?

- Нет. Не хочу, – резко сказал Ковригин. – Нет времени. Ещё раз спасибо, и пойду...

– Ну, сходи... А если вернёшься сюда, загляни ко мне на ферму, спроси ферму Макара, тебе скажут. А теперь сходи, куда направился... – и мужик усмехнулся ехидно, пожалуй, что и со злорадством и будто бы с предощущением невзгод Ковригина в скорые дни...

«А ведь со временем-то у меня действительно туго, – сообразил Ковригин. – Ни на какие переулки у меня его и не останется...»

Нужда спуститься к булыжному берегу Канала у Ковригина, пожалуй, развеялась, отлетела пухом одуванчиков. Что нового он мог бы узнать на берегу и что увидеть? Но он ощущал, что мужик при ведре с антоновкой с интересом (или даже с азартом игрока) смотрит ему в спину. И отказ от спуска к месту ночного происшествия значил бы, что он, Ковригин, спасовал перед фермером Макаром. В чём спасовал и кто для него вообще этот так называемый фермер, Ковригин не знал. Однако, из упрямства, что ли, пошел вниз, к волжским водам. Территория пепелища у моста Рогачёвского шоссе, не слишком великая, была действительно оцеплена. Кроме милицейских автомобилей Ковригин увидел на бывшей стоянке дирижабля и две пожарные машины, возможно, там ещё что-то тлело. На краю платформы к бетону рекламного столба клеим «Момент» были прижвлены объявления. Виртуозов чуть ли не

пятнадцати профессий к высокооплачиваемым трудовым будням зазывали возобновители шести палуб со штурвальной рубкой наверху возрождаемого сухопутного лайнера-гиганта «Адмирал Лазарев». А ресторан «Чудеса в стратосфере» приглашал на службу лишь гондольеров, но не двух или трёх, а сразу – семерых.

Ковригин присел на траву прибрежного откоса, пока ещё зелёную и сочную, закурил. Потом заметил рядом разброс камней. Вряд ли они остались от ледника, ползшего здесь некогда из северных прогретых краёв. Скорее всего, их не довезли до возрождаемого «Адмирала». А может быть, затевали вымостку откоса, но затея взяла и повесилась. Ковригин пересел на камень. И тут же, влево от себя, ближе к мосту железнодорожному, увидел (и рассмотрел) палубы «Адмирала», пока ещё в лесах и в зеленоватых целлофановых занавесах. Не шестипалубники ли эти и были конкурент-погубителями дирижабель-ресторана «Чудеса в стратосфере», судя по приглашению семи гондольеров с оплатой трудов в у.е., вовсе не собиравшемуся прогорать и уж тем более взрываться? Сейчас же в Ковригине возбудился праведный гнев («экие сволочи, корыстные ублажители корпоративных якобы страдальцев, а по сути – деляг, решетом собирающих влагу!») и сострадание к хрупкой женщине, сбитой ядовитой стрелой в схватке недоразвитых капиталов. «Она-то ведь, – явилось соображение, – может, как и здешний итальянский генерал Нобиле, была истинной патриоткой дирижаблей и ресторан держала исключительно ради того, чтобы возбудить в обществе интерес к дирижабельной романтике и добыть деньги на её возрождение»...

Но почему вдруг – «хрупкая женщина», осадил себя Ковригин. Поводов называть её хрупкой женщиной Лоренца (или как там её?) в забавах с ним вовсе не дала. И что он толком знает о ней? С чего вдруг возникли в нём фантазии о хлопотах Лоренцы по возрождению отечественного дирижаблестроения? Что он вообще припёрся сюда, отчего у него здесь на зелёном откосе слёзы чуть не закапали? Глупость какая-то! Кстати, вспомнилось Ковригину, у неё, по утверждению в визитке, странницы и маркизы, имелся ещё ресторан или подземный будто бы бар. Ковригин вынул бумажник, потрепанный, размятый, оставшийся от отца. Визитка Лоренцы не была в нём обнаружена. Если она не рассыпалась, не улетучилась в азоте с кислородом (и с чем-то ещё) сама, стало быть, осталась в квартире, в Богословском. От дачного полемиста и доброхота Кардеганова-Амазонкина Антонине стало известно о красавице Лоренце Козимовне, и если её визитка попала бы Антонине на глаза, возникли бы в сестрице отчаянные и ложные направления мыслей. «И это замечательно!» – возрадовался Ковригин.

В это мгновение в кармане его заверещал телефон. «Идиот! – отругал себя Ковригин. – Ведь обещал избавиться от него!» Телефон трещал-верещал минут пять, испытывая силу воли Ковригина. Испытал. А когда затих, Ковригин решил приступить к уничтожению приговорённого им (по необходимости) предмета. На камне он сидел, камни, побольше и поменьше, лежали рядом. И тут его остановила семейная (Антонина не в счёт) и уже известная нам привязанность к старым, долго и достойно служившим человеку вещам. Настроение у Ковригина и так было не слишком весёлое, а тут он затосковал. Рука его не смогла опустить камень на темную пластмассовую коробочку, а в ней наверняка оставались звучать и жить голоса, радости, страдания, дела и самого Ковригина, и многих близких ему и противных ему людей. «А сделаем так! – пришло в голову Ковригину. – Упрячу-ка я его под камни, укрою так, чтобы никто его не нашел. Вернусь из Синежтура и откопаю. Наказаний он не заслужил. Разрядится к тому же он дня через два. А за два дня, глядишь, примет и запомнит что-нибудь важное...»

И упрятал. Встал. И ощутил: из-под камней, будто из глубин Земли, доносилось печальное верещание. А впрочем, может, верещание это и подземные трески (или стоны) Ковригину прислышались.

Постоял минуты три. Поглядел на дачные дома за Каналом, на белые корабли в узком водном створе, на серые, мокрые облака, ползшие с северо-востока, не иначе как от Карского моря подгонял их к Москве Сиверко – обещанием холодов и занудства мерзких мелких дождей. И только теперь метрах в двадцати ниже и вправо от себя заметил грустно сидевшего человека. Голова его в красной бейсболке была скорбно опущена. Ива плакучая... «Ба! Да это же Амазонкин! – сообразил Ковригин. – Он-то с чего бы оказался у пепелища?» А сам-то он, Ковригин, из-за каких переживаний или толчков судьбы поспешил на платформу «Речник»?

Заметил его Амазонкин или не заметил, Ковригин решить не мог. Окликнутым соседом-активистом быть не хотелось, и Ковригин быстро пошагал к платформе.

В ожидании московской электрички Ковригин в совершенно непредвиденном им порыве любопытства (или сомнений) подошёл к единственному кассовому окошку и спросил барышню:

– Фермера Макара вы знаете?

– Кто же его не знает, – сказала кассирша.

– Будьте добры, передайте ему вот это...

И Ковригин на мелком листочке, вырванном из блокнота, написал: «Если вспомните, если заметите, если есть версия, позвоните по телефону...» Номер был сообщен телефона мобильного, укрытого теперь камнями откоса. Для бестолкового человека (а фермер Макар вряд ли был бестолковым) Ковригин подписался: «Вёдров-Антонов».

– Передам, если появится, – сказала кассирша. – Обычно он передвигается на джипе.

– А страусов он не разводит? – спросил Ковригин на всякий случай.

– Нет, – сказала кассирша. – Разводил кенгурей. Но они помёрли. Даже детишки в сумках. Потепление, выходит, ещё не наступило. Ни всеобщее, ни тем более узкопрудненское. Но сейчас, говорят, завозит аллигаторов. Этих – для дмитровского сафари.

– Какого дмитровского сафари?

– Китайцы создают. Охотничий рай. Или звериный. Не помню. Все там будут. Все, кроме панд. К востоку от Дмитрова, в сторону Сергиева Посада. Вы нашу дорогу-то знаете?

– Я – яхромский! – заявил Ковригин с гордостью и высокомерием, будто объявил себя парижанином.

– И я яхромская! – обрадовалась кассирша.

«Нет, надо бежать отсюда. И сейчас же! Хоть бы и по шпалам».

И тут подкатила московская электричка.

До отбытия ковригинского поезда оставалось четыре часа. На асфальты из подземелья Ковригин выбрался у Чистых Прудов. Можно было побродить покровскими, мясницкими и сретенскими переулками. Но перед тем Ковригин приобрёл в палатке сотовый телефон и зашел в неведомый ему пивной ресторан «Кружка» у Сретенских ворот. Весной «Кружки» здесь вроде бы не было. Пиво подавали «Невское», а подкармливали, коли любителю требовалась основательная подкормка, свиной отбивной на косточке. За углом, на Лубянке, Ковригина и его друзей некогда замечательно угощала шашлычная «Ласточка», а с переходом из армянских рук в бакинские – шашлычная «Апшерон». Нынче там за голубыми витринами торговали лекарствами, и будто бы туда однажды за полосканиями для связок заходил сам Басков. Но и в угловой «Кружке» Ковригину было комфортно, почти комфортно, его размоорило, он успокаивался и миролюбиво поглядывал на липы бульвара и на бронзовую девушку Наденьку, ещё не съездившую в Шушенское и тем более ещё не руководившую департаментами в соседнем доме, бывшем страховом обществе «Россия», где спичечными коробками выдавали зарплату мелкому сотруднику М. А. Булгакову, учувшему в доме и в Москве дьяволиаду.

И Ковригин понял, что на станцию Перерва он сегодня не поедет.

А на даче, поглядев один из городских сюжетов ТВ, Ковригин решил, что по возвращении в Москву первым делом он съездит в Перерву. Такая возникла блажь. На втором курсе Ковригин оказался практикантом многотиражки «За образцовую магистраль» Московско-Рязанской железной дороги (тогда, трудно поверить, и ведомственные издания имели многия тиражи), и первой его командировкой была поездка в Перерву на сортировочную горку Люблинского узла. Там Ковригин попрыгал (вскакивал зачем-то на ходу, теперь уж и не помнит зачем, на подножки товарных вагонов), побегал, блокнотики поисписывал, заметки посочинял, и никто ему толком не мог объяснить, что это за громадины кубические стоят рядом, да ещё и за каменным забором, у речки Нищенки на москворецком лугу напротив Коломенского. «Вроде бы монастырь... вроде бы Николо-Перервинский...» Если и монастырь обезглавленный, то явно начала двадцатого века, никакие древности в нём не угадывались (да и что понимал Ковригин тогда в древностях?). Теперь же в ТВ-сюжете Ковригин увидел отреставрированный златоглавый красавец-монастырь со строениями московского барокко, чудесно сочетающийся («корреспондирующий», сказал бы Петя Дувакин) с памятниками Коломенского. Ковригин был способен на восторги («щеньячи радости» – в кроссвордах), редко, но способен, и тут расчувствовался, может, практику второго курса вспомнил. Взволновала его и расчищенная в патриарших кельях, а построили их в годы правления царевны Софьи (не в соборе, а именно в кельях, что было случаем особенным), фреска – попугай, клюющий виноград. Схожий с ним попугай был выцарапан рядом с нерасшифрованными буквицами на боку пороховницы-натруски семейства Чибиковых. Да что – схожий! Точно такой! Ковригин и прежде склонялся к этому суждению, теперь же в уюте сретенской «Кружки» он был в нём уверен. Что значил этот попугай на пышной виноградной лозе? И почему его выцарапывали на костяном изделии?

Ковригин достал приобретенный им мобильный телефон и снова порадовался тому, что он простенький. И продавца просил подобрать ему простенький. Но чтобы абонента доставал и в Рейкьявике. Мобильный, любой, нужен был Ковригину исключительно для двух возможностей. Позвонить кому-либо по делам или при обострении чувств. Или же самому выслушать чей-то звонок. Всяческие навороты в телефонах его не волновали. А упрятанный-то в камнях сотовый, кстати подаренный Антониной, был именно с наворотами, и как и ради чего использовать эти навороты, Ковригину разъяснял просвещённый восьми-летний племянник Сергей. Ковригин, естественно, ничего не запомнил. Да и к чему запоминать-то? Звонил и выслушивал. И всё. Правда, часто нажимал не на те кнопки, вызывая странные действия чувствительной игрушки.

А теперь до него дошло!

Под камни у Канала он упрятал целый мир. Архив с судьбами и, возможно, с секретами многих людей. Разговоры, порой и с откровениями, скорее всего, остались в памяти чёрной коробочки, созданной умельцами фирмы «Нокиа». Да мало ли что могло остаться и в звуковом, и в визуальном, а то и в мысленно-игровых фондах хитроумной вещицы! Фильмы целые и радиоспектакли. Об этом и прежде, пусть и смутно, догадывался Ковригин. А дошло до него теперь вот что. Если бы мобильный попал в руки человека, заинтересованного в секретах Ковригина и людей, общавшихся с ним, тот слюной бы изошел от удовольствий. Сразу же Ковригину привиделся фермер Макар с ведром антоновки, этот уж наверняка мог проследить за действиями частного сыщика и пошарить под камнями. Не Макар ли, воспитатель оголодавших зверушек, и был завистником или конкурентом-погубителем ресторана с гондольерами?

Нет, каков он остолоп и идиот, сокрушался Ковригин.

Шел дождь, и Ковригин потягивал третью кружку пива. Не только времени, но и усердий воли не было у него сейчас, чтобы подняться, броситься к якобы укрытому телефону и превратить его в греческий или валахский орех. Авось пронесёт! И фермер Макар, воз-

можно, вовсе не злодей и не так лукаво-ехиден, каким прикидывается. Да и страхи по поводу опасности (для кого?) сведений, сбережённых мобильником (могильником!), пожалуй, им, Ковригиным, крайне преувеличены. Вернётся он из Синежтура, телефон отыщет, и тот ему ещё послужит.

Когда перед Ковригиным оказалась четвертая кружка «Невского» с солёными сушками и вялеными останками кальмара, он понял, что и на переулки у него времени нет. Ну, если только зайти в Армянский переулок (пёхом туда – минут десять-двенадцать) и походить по двору у палат армянских торговых гостей семнадцатого века (именно палаты той поры были слабостью Ковригина), а потом перейти во двор напротив к палатам боярина Матвеева, в них, по легенде, царю Алексею Михайловичу устроили знакомство с Натальей Нарышкиной, будущей матерью великого Петра. А уже играла в куклы царевна Софья Алексеевна...

Опять царевна Софья! Только что она возникала в соображениях Ковригина о патриарших кельях Николо-Перервинского монастыря. Попугай, клюющий виноград. Попугай над обиталищем патриарха Адриана. Попугай на костяной пороховнице (пороховнице ли?). Самая талантливая, огненная и страстная женщина Древней Руси. Стасов. Стрельцы разве могли пойти за рыхлой (как у Репина) бабой? Красота должна была их волновать. Суриков. Всё. Хватит. Ни в какие Армянские переулки! Ни к каким Софьям! Достаточно того, что он едет к другой воздушной фаворитке эстета Пети Дувакина – к Марине Юрьевне Мнишек. Туда бы не опоздать.

«Обо всем московском забыть! – наставлял себя Ковригин, погрызывая высушенный ломтик кальмара. – Взять из камеры вещи и на посадку! А как только тронемся – с головой под одеяло и дрыхнуть до самого Синежтура!»

13

Мечтание о снах под одеялом до самого Среднего Синежтура так и осталось мечтанием.

То есть, конечно, Ковригин уснул, но не сразу, а в час ночи. Верхние полки в купе оказались свободными, единственный сосед Ковригина, мужчина лет сорока пяти, без простейших примет, какие могли бы помочь в случае нужды оперативным работникам, возвращавшийся в лесной угол Костромской губернии Мантурово из калужских гостеваний, был молчалив и мрачен. Что-то тяготило его. Возможно, побывка у родственников вышла неудачной, а то и скандальной. А может, он вообще вырос нелюдимым. Сосед недолго пересчитывал деньги, угрюмо косясь на Ковригина. Потом достал из кармана плаща, брошенного на одеяло, бутылку водки и два пластмассовых стакана. «Всего лишь поллитра! – обрадовался Ковригин. – Много пить не придётся!» Но ему вообще не пришлось пить. Сосед с тщанием провизора заполнил оба стакана, произвёл как бы чоканье ими, не вызвав даже и пластмассовых звуков, и поднеся сосуды к углам рта, опрокинул жидкости в глотку. В бутылке не осталось ни капли. Что означал этот церемониал, Ковригину открыто не было. Но действие очевидно подходило и к словам – «выпить залпом». И сейчас же в руках попутчика возник пакет с пирожками несомненно домашней выпечки. Стало быть, и не совсем плохой вышла у мантуровского лесопила поездка в Калугу. Начинкой пирогов были яблоки, капуста и рис с порубленными варёными яйцами. Пироги также не были предложены Ковригину. Но возбудили в нём, накормленном сретенской «Кружкой», совершенно не предусмотренный им, да и обидно-вредный к вечеру аппетит. Станный какой-то попался Ковригину попутчик. Будто немец. Или хуже того – француз. А ведь вначале пути вполне внятно, с оканьем даже, сообщил о леспромохозе в Мантурове и калужских родственниках. «Придётся тащиться в вагон-ресторан, – погрустнел Ковригин. – И надо валить из купе. А то последуют сейчас откровения. Или жалобы. Сиди, выслушивай и кивай. Ну уж, дудки!»

Но нет. Не последовали ни исповеди, ни жалобы турка. Или француза.

Лесной человек доел пирожки, вытер пальцы о штанины (а ведь полотенце висело за спиной), не раздеваясь улегся на одеяле лицом к стене и затих. Правда, перед тем произнес слова.

– Организм склонен к производству ветров. Ничего поделаться с ним, сволочью, не могу. А потому заранее прошу прощенья.

Потом добавил, будто бы после сложных раздумий:

– Чтоб и вам хотелось!

Вот тогда он повернулся к стене и затих.

Чтоб чего хотелось? Ковригин был намерен, и словно бы в нетерпении, переспросить добропожелателя, чтоб чего хотелось, производить ветры, что ли, да ещё и со звуками, что ли? Или имелось в виду иное?

«А впрочем, я напрасно дуюсь на него и напрасно отношусь к нему с высокомерием, – подумал Ковригин. – Хуже было бы, если бы он предложил мне стакан, а потом достал бы из портфеля варёную курицу и отломал собутыльнику жирнющую ножку. Нет, он взял и избавил меня от банального дорожного питья и слезливого разговора – в нём он, видимо, и не нуждался. А главное – он наказал мне жить желаниями и сумел вызвать одно из них».

Желание это становилось острожающим, сопротивляться ему не было резону, и Ковригин отправился в вагон-ресторан.

В своих путешествиях и деловых журналистских поездках Ковригин предпочитал железную дорогу. Не из боязни летать, боязни не было, в далекие места добирался именно Пятым океаном, но из-за того, что с самолетами была связана суета, спешка, нервная беготня,

необязательность служб и погоды, а передвижение в поездах выходило степенным, успокоительным для Ковригина, исторгающим его из рутинной маелы быта. Хлопоты и сплетения будничных обстоятельств отлетали и застывали за пределами свободного движения. Неспешка ни от кого и ни от чего независимой лени особенно хороша была для Ковригина за столиками ресторанных вагонов. Торопить официантов было бы здесь противоестественно и скучно. Время текло не минутами, а километровыми столбами. Километрами лесов и равнин, городами и сёлами, в каких ни прежде, ни позже побывать не удавалось. Пирожки мантуровского попутчика пирожками, а Ковригин в любом случае и в синежтурском поезде отправился бы в вагон-ресторан, заказал бы там для приличия пусть и простенький салат и просидел бы с ним не меньше часа. Хорошо бы у окна.

А тут ещё и пирожки. Да ещё и с капустой. И пожелание: «Чтоб и вам хотелось!»

Ресторан принимал путников через три вагона от Ковригинского. Был он полупуст, пассажиры, видимо, ублажили утробы в столичные предотъездные часы, но с ходом времени все столики заполнились. А пока Ковригин барином уселся за будто бы заказанным для него столиком и именно у окна. Полупустота вагона, к сожалению, быстро пригнала (не проехали и пятидесяти верст) к Ковригину официанта. Ковригин поинтересовался, все ли блюда меню хороши и есть ли среди них какие-нибудь особенные синежтурские угощения. Есть, обрадовал его официант. А пирожки, не удержался Ковригин. И пирожки есть. Эти – с рыбьим содержанием. Карпятину и сомятина. Без костей, естественно. Почти что расстегаи. Карпы в Заводском пруду Синежтура плодятся и размножаются. И сомы с усами донских есаулов. Были рекомендованы Ковригину также тава-кебабы по-синежтурски из польского мяса. И лангет «Обоз-88» с жареным картофелем, этот, если, не съедая, внимательно поглядеть на него сверху, напмнит фигуру новейшего танка, какого и войсках НАТО нет. Ковригин заказал пару пирожков с усами есаулов (на пробу) и лангет «Обоз-88». Тава-кебабы вызвали у Ковригина сомнения. Тава-кебабы готовили в южных землях и из баранины. Вполне возможно, что в среднесинежтурском понимании баранина и была польским мясом, но выяснять у официанта секреты здешних тава-кебабов не решился. Из опасений потерять душевное равновесие. Пирожки и Обоз. И всё. И всё? Официант опечалился. Нет, конечно. С такой-то закуской! Конечно, конечно – сто пятьдесят и пару синежтурского пива! Сейчас же официантом, а выглядел тот способным служить охранником при тонированных стёклах, Ковригин был признан достойным углублённого внимания, и официант произнес тихо, но как бы своему:

– У нас ещё селёdochка есть замечательная, сосьвинская, северная... Не всем предлагаем... Не все вникают и не все разбираются...

– Прекрасно! – сказал Ковригин. – Тогда, естественно, не сто пятьдесят, а двести пятьдесят! А там посмотрим.

Сосьвинская селёдка действительно оказалась замечательной, нежнейшей, малосольной (легенды о ней, кстати, Ковригин слышал раньше), официант не отходил от столика в ожидании похвалы северной рыбе, и Ковригин в воодушевлении поднял большой палец, а потом, отправив ко рту стопку, произнёс:

– Чтоб и вам хотелось!

– И не икалось! – поддержал его официант и отбыл к вновь подошедшим клиентам.

Поначалу (при сосьвинской-то селёдке и пирожках, да и пиво синежтурское «невскому» из сретенской «Кружки» не уступало) думать о чём-либо Ковригин был не в состоянии. Но когда приплыл лангет «Обоз88», явились к нему некие соображения.

Из соображений этих сейчас же было решительно удалено польское мясо (лишь в самом Синежтуре, постановил Ковригин, можно будет сыскать польскому мясу достоверно-убедительные разъяснения), а вот лангет дал мыслям Ковригина следопытское

направление. Итак, прежде чем приступить к поеданию лангета, следовало внимательно разглядеть его сверху, с высоты незамутненных глаз.

Но тут боковым зрением Ковригин уловил за окном движение неведомого ему объекта. Оно то и дело отвлекало его. Пожалуй, и раздражало. Занавеска, белая, с синим водоёмом при плотине на ней (возможно, с Заводским прудом), была Ковригиным давно сдвинута, за окном темнело, луна вползала на небо, и, что там передвигается, что там мелькает, озадачивая его, Ковригин понять долго не мог. Причем движение неведомого происходило вопреки логике, то есть не навстречу поезду, а именно так наплывали на него строения, деревья, машины, люди, собаки и коровы и уносились к Москве. Это же, нечто мелькающее, будто бы сопровождало поезд (или конвоировало его?), старалось не отстать от него, а иногда и забегало вперёд. Оно мелькало между стволов деревьев, в вечернем тумане влажных мест, на бледных лунных полянах, а когда совсем рядом с железнодорожным полотном возник в огнях асфальт шоссе, Ковригину показалось, что сопровождает поезд голый мужик, не исключено, что босой и козлоногий.

Ковригин задержал занавеску.

Мало ли что может померещиться после нежнейшей сосвинской селёдки и синезтурских напитков вперемешку! Необходима была еда основательная, а перед Ковригиным остывал лангет. Можно было посчитать, что огляд блюда сверху произведен, и пустить в ход нож с вилок. Сходства с танком в конфигурации лангета Ковригин не обнаружил, впрочем, что он понимал в военной технике? Тем более что и специалисты НАТО не смогли превзойти наши новейшие бронемшины. И тем более, что лангет назывался не «Т-88», а «Обоз-88». И, спасибо повару, вкусовые свойства лангета оказались сносными.

Ковригин не только был путешественником, не землепроходцем, понятно, и не профессионалом-странником, а посетителем многих мест на Земле, главным образом пока в России, но и просто почитателем географии. Собирал путеводители и краеведческую литературу. Любил вызывать в себе, по сведениям знатоков и по линиям карт и планов, представления о том или ином городе, а оказавшись в нём, сопоставлять свои видения или фантазии с реалиями нравов и архитектуры. И совпадения, и несовпадения их с явью были интересны Ковригину, в них случались игры ума, эстетические удивления, а то и открытия. Вчера Ковригин пытался найти описание Среднего Синезтура и не нашел. Наткнулся лишь на коротенькие сведения о городе. Каким-то потаённым оказывался в них Синезтур. Хотя даже и в пору империалистических происков и шпионств закрытым он не был. Существовал с Петровских времен, превращал руду в металл, эти превращения происходили на берегах огромного Заводского пруда. Имелась в нём Башня «падающая», чуть ли не Пизанская, с ней были связаны зловещие легенды. Жило в Синезтуре тысяч четыреста с лишним граждан, кроме металлов они создавали художественные изделия из самоцветов, яшмы, малахита и моржовой кости (это сообщение, естественно, Ковригина озадачило, прежде о синезтурских косторезах он не слышал)... То есть из этих сведений выходило, что Средний Синезтур – некое безликое промышленное поселение, без особых красот и с зарослями дымящих труб. И никакой театр в них не упоминался. Что-то ещё дергалось теперь в памяти Ковригина и не могло восстановиться смыслом. Ах да! Вот что! Наконец, Ковригину вспомнилось. Одним из градообразующих предприятий Синезтура был назван Обозостроительный завод. Вот откуда лангет «Обоз-88»! И ведь действительно лангет при взгляде на него сверху напомнил Ковригину телегу. Вчера само слово «обозостроительный» вызвало удивление Ковригина. Какие такие обозы необходимо строить в двадцать первом веке? И как вообще можно строить обозы? Тыкался в справочники и получил разъяснения. Обозостроители, а трудились они чуть ли не в каждом уездном городе, мастерили транспортные средства, в соответствии с потребностями эпохи – телеги, сани, повозки, коляски (возможно, некогда – недорогие кареты), в тридцатые годы прошлого столетия принялись изготавливать прицепы, ну и так

далее. В большинстве городов они за ненужностью вымерли, а в Синежтуре, выходило, остались. Но это и не его, Ковригина, проблемы.

Лангет, надо полагать, был исторический, и Ковригин доел его с удовольствием. Специалисты же из НАТО понадобились местным кулинарам для рекламной приманки. Будем считать так.

Между тем места за столиком Ковригина заняли господин в пижаме и две сударыни-хлопотуны, возбужденные дорогой, эти – явно после успешных отпускных развлечений. Они попытались вовлечь Ковригина в общий разговор и в соучастие в вечерне-воздушных тостах. Ковригин постарался быть любезным с дамами и, когда его попросили сказать слова, произнёс:

– Чтоб и вам хотелось!

Вот ведь, нахмурился Ковригин, прилипло к языку!

Тем не менее тост его вызвал шумное воодушевление, а господин в пижаме даже сказал: «Надо записать. Это небось ваша свежая московская фишка». А ведь Ковригин не объявлял, что он москвич.

– И с чем же связан ваш визит в Синежтур? – поинтересовалась сударыня с синими, прикупленными ресницами, длиною в полёт шмеля.

– Так... – смутился Ковригин. – С Башней связан... Некоторые творческие проблемы...

– С какой башней? – насторожился господин в пижаме.

– С этой... С Падающей... – сказал Ковригин неуверенно.

– С Падающей... – поскучнел господин. – Она же всем надоела...

А заказаны были компанией вовсе не лангеты, а тава-кебабы по синежтурски. Робко высказанные Ковригиным сомнения по поводу соответствия названия блюда и традиций национальных кухонь, со ссылками на труды Похлебкина, едоками не были приняты всерьёз. Во-первых, в Синежтуре нынче в моде польское мясо, есть к тому основания. Во-вторых, развелось в городе много южных людей, а уж они-то разбираются в кебабах. «И откуда здесь южные люди?» – спросил Ковригин. «Отовсюду! Откуда хотите! И негры есть, и французы...» Было сообщено, что один из французов держит ресторан «Лягушки», там вкуснятина в меню, лапки оближешь. Это недалеко от отеля «Слоистый малахит», москвичи непременно останавливаются в нём. «Малахит» и «Лягушки», чтоб вы знали, – всего в километре от Плотины, то есть – на Блюдце. Не дожидаясь вопросов Ковригина, попутчики охотно объяснили ему, что Блюдцем называется центральная часть Синежтура. Пруд – это как бы донце Блюдца, окружают его холмы, а от них недалече и горы...

– И театр минутах в пяти от «Малахита», – просветила Ковригина сударыня с собственными рыжими ресницами, явно в готовности перечислить и прочие достопримечательности Синежтура.

– Всё! Всё! Всё! – Ковригин вскинул руки вверх. – Всё должен увидеть и разузнать сам! Такая привычка. И такой каприз. Иначе неинтересно. «К нам города иные чужды и словно замкнуты в себе...»

– Вы поэт? – спросила сударыня, вспомнившая о театре.

– Упаси Боже! – воскликнул Ковригин. – Поэт – Ахмадуллина Белла Ахатовна. А необходимость разомкнуть чуждость незнакомого города каждый раз для меня – условия чудесной игры.

– Красиво, – вздохнула театральная сударыня (кстати, в разговоре её именовали Верой).

«А ведь и впрямь попёрло в красоты!» – отругал себя Ковригин.

– А чего тут красивого или сложного? – сыто протянул господин в пижаме, острым обломком спички он уже инспектировал зубы. – Приведёт молодой человек в номер сине-

жтурскую красавицу, или платную, или просто очарованную им, и в момент размыкание замкнутого случится.

«И такое бывало», – подумал Ковригин.

Театральная сударыня Вера фыркнула, как бы укоряя прагматика, сударыня же с синими ресницами (называли её Долли) заулыбалась шаловливо, словно бы давая понять, что она-то не против помочь застенчивому гостю разомкнуть таинственную суть Среднего Синежтура.

– Сейчас расплачусь, – объявил господин в пижаме (его отчего-то называли Маминым-Сибиряком, возможно, он долго жил в Сибири, а потом возвратился в Синежтур к маме), – и последуем в опочивальню. На посошок!

Тут же сударыни, призвав на столик косметички, принялись поправлять губы и волосы (зеркало царевны Софьи Алексеевны имело оправу из скани, – мелькнуло в соображениях Ковригина и унеслось далече, на запад, к московским подземным ходам).

Уже уходя, сударыня Долли, с синими ресницами, высказала предположение, что в Синежтуре они наверняка пересекутся с исследователем Падающей башни. И опять же шаловливо помахав ручкой, сказала:

– Чтоб и вам хотелось!

«Посижу ещё полчаса, – решил Ковригин, – и тоже – по домам!» Впрочем, мысли о способностях организма мантуровского лесопила производить ветры, возможно и со звуковыми эффектами, могли задержать Ковригина у столика до закрытия ресторана.

«Значит, Блюдце, – размышлял Ковригин. – Интересно. Интересно. А негры да французы – где их теперь нет?» Новые соседи интереса к Ковригину не проявили, заказали к водке лангеты, о сосьвинской селёдке вопросов не задавали, из чего Ковригин заключил, что направляются они вовсе не в Синежтур. Ну и ладно, обрадовался Ковригин, дёргать своей болтовнёй не станут. Сидел, молчал, удивлялся тому, что мобильный его не верещит, и вспомнил, наконец, что он у него новенький и номер его никому неизвестен. А Антонина, дама работающая да и мамаша ответственная, должна была вернуться в воскресенье в Москву. Наверное, вернулась, но захотела ли разыскивать брата? Да и что его разыскивать, если его улептили (деньгами, видимо) отправиться в Аягуз?

Ковригин вздохнул, сдвинул занавеску, белое с синим. Плотина. Блюдце.

За окном проносилась окраина одноэтажного посёлка. Пристанционная улица. Магазины, открытые и закрытые. Кафешки. Столбы с фонарями. А по улице под фонарями со свирелью в руке бежал голый козлоногий мужик.

– Смотри-ка, – оживился один из новых соседей Ковригина, – мужик голый с рожками на башке и босой. И куда, интересно, бежит?

– Куда, куда! – захохотал другой сосед. – В круглосуточный за водярой. А может, у них ночью только на станции и торгуют. Торопится. Ноги-то как выбрасывает. Борзаковский!

– А чего он босой?

– Какой же он босой? Он в сапогах. Или в унтах из оленя. Правда, на каблуках.

Ковригин встал. Слова не произнёс, лишь поблагодарил официанта. Чаевыми тот остался доволен. В тамбуре своего вагона Ковригин долго курил. Поселковый вокзал, впустив в себя голого бегуна, уехал на запад. Может, на самом деле Ковригина озаботил гонец за веселящей жидкостью, а в руке его была не свирель, а небрежно скомканная сумка? Но неужели гонец был отправлен в здешний вокзальный буфет из Москвы? Нет, надо было выпастся и забыть об этой несурразице, как и о всяческих странностях последних дней.

Опасения Ковригина по поводу склонности организма мантуровского лесопила (или лесоруба) создавать ветры, продекларированной попутчиком, не подтвердились. Скверной духоты, от которой была бы хороша на балу щепотка нюхательного крошева из табакерок или, допустим, из бывших пороховниц, Ковригин в купе не ощутил. Да и звуки, какие изда-

вал попутчик, были вовсе не воинственно-взрывными, а переносимых свойств храпы. «Ну и ладно», – обрадовался Ковригин. Он разделся, хотел было достать из чемодана Козлякова или Костомарова, но свет ночника был слишком тусклым.

Уже отправляясь под одеяло, Ковригин решил взглянуть на луну.

Лучше бы не взглядывал.

За окном бежал голый козлоногий мужик.

Передвигался он лицом (да и коленями) к Москве, и в первые мгновения наблюдений за ним могло показаться, что мужик в Москву и бежит (отоварился в привокзальном буфете и спешит обрадовать страждущих в столице приятелей). Но это впечатление оказалось ложным. Козлоногий мужик, и при неразумно-неестественном расположении частей тела, от поезда не отставал, а порой (спиной вперед) и обгонял вагон Ковригина.

«Ну всё, – пообещал себе Ковригин. – Завтра – ни капли! И в Синежтуре – вообще ни капли! Если доеду туда...»

Но куда он едет? Есть ли такой город – Средний Синежтур? Есть ли там театр? И играют ли в нём спектакль по пьесе А. А. Ковригина?

И главное, писал ли когда-то Александр Андреевич Ковригин пьесу о Марине Мнишек?

Вроде бы писал...

И о чём же в ней написано? Скажем, есть ли в ней эпизод с историей Барбары Гизанки? Папаша Марины Юрий Мнишек был шустрила, авантюрист пышноусый, рисковый и корыстный. Вместе с младшим братом Николаем он добывал (вербовал, улещивал) с доставкой в Краков королю Сигизмунду-Августу чародеев, колдуний и, конечно, любовниц. Красотку Барбару Гизанку они похитили из бернардинского монастыря в Варшаве, та угощала короля удовольствиями страсти и родила ему дочь, об услуге этой Сигизмунду-Августу приходилось помнить, а потом он и вовсе был обобран своим сенатором Мнишком. Знала ли об отцовских занятиях и промыслах девочка из Самбора Марина? Ковригин склонялся к тому, что не знала. Так ему было удобнее думать. Да хоть бы и знала...

Но теперь, в поезде, Ковригин гадал, вместились ли история с Барбарой в его лопухую пьесу. Его тогдашняя Дульсинея Натали Свиридова была тысячу раз права, назвав его сочинение бездарным. Какой он был драматург! Неумеха! Нищий студент, обнаглевший в надежде вызвать расположение прекрасной Натали, единственной в мире. Вываливал на бумагу события и собственные представления об открывшихся ему людях и их житейских случаях, без затей и профессиональной выучки, а как Бог на душу положил. Не принимая во внимание вековые и приобретенные в двадцатом столетии приличия жанра. Уж как не вминалась в сжатые теснинами пространства пьесы история мошенничеств чернеца Отрепьева в Новгород-Северском и Киеве с исповедальными письмами в случаях якобы погибельных хвороб (прочитать после смерти, а перед смертью вроде бы не врут, в письмах же он объявлял себя чудесно спасённым сыном Грозного Ивана); но может, и не мошенничеств, а искренне-болезненных порывов заблудших судьбы и души; а всё же и эту историю Ковригин втиснул в свой текст. Сочинение его получилось перенасыщенным информацией, но раздёрганным, лоскутным, с временными скачками, с допусками неоправданных фактами фантазий.

Впрочем, каким получилось, таким получилось. Что теперь-то жалеть об этом.

И что думать о какой-то красавице Барбаре Гизанке? При отказе от мыслей о красавице наш Ковригин и попал в объятья Морфея...

Ох уж этот Морфей! То – проказник. То – проводник в кошмары.

14

Проснулся Ковригин перед прибытием поезда на станцию Мантурово. Разбудил проводник, излишне громко и назидательно напоминавший попутчику о том, что поезд остановится здесь на две минуты и мешкать не стоит. «Знаю! Знаю! – недовольно отвечал попутчик. – Первый раз, что ли!» В сознании Ковригина, вырывая его из сна, возникли калужские пирожки, а за ними и пирожки синежтурские вместе с сосьвинской селёдкой. «Дождь-то какой льёт, – вздохнул попутчик. – И ветер. Надо было плащ-палатку брать. Снег, видимо, скоро повалит. Земли у нас северные...» Ковригин, взглянув в окно, похвалил себя за то, что догадался взять в дорогу плащ. Впрочем, если и вправду повалит снег да и морозец прихватит землю, плащ против здешних погод не поможет. «Но и не буду я задерживаться в Синежтуре, – пообещал себе Ковригин. – Дня три поторчу там, ну, от силы – неделю...»

– Ну, счастливого вам путешествия, – сказал мантуровский попутчик. – Подъезжаем... Коли чем был нехорош, извините...

И поволок чемодан с сумками к двери. Ковригин привстал на локтях, будто бы хотел окликнуть и задержать лесоруба, а потом и услышать от него нечто существенное, но тот был уже, видимо, в мантуровских обстоятельствах жизни, слов не произнёс, и тогда Ковригин брякнул ему в спину:

– Чтоб и вам хотелось!

Из-под одеяла не вылез, глядел на низкое серо-синеватое небо, на вычерненные временем деревянные дома в один или в два этажа, скорее всего – общежития или бараки, на сосны и на цветные ещё березы с осинами, грустно ему стало. Тоскливо ведь, поди, живётся в глуши лесного края. А он, столичный баловень, нежится в тепле и комфорте пусть даже и не самого совершенного, средней цены средства передвижения, теплом этим доволен и не чувствует себя перед кем-то или в чём-то виноватым. Но вдруг и в Среднем Синежтуре его ожидает тоска и студёные неуюты серо-мокрых небес? Что погнало его в Средний Синежтур? Затея, вполне возможно, вздорно-развлекательная с надеждой на трехдневные забавы. Но к кому и к чему он вернётся в Москву, есть ли в его жизни и там (или где-нибудь вообще) подлинный комфорт и тепло?

На перроне, а поезд уже отправлялся, Ковригин увидел попутчика (имя его так и осталось неизвестным, а потому пусть он будет – Чтобивамхотелось). Тот стоял под дождём, чемодан утвердив на асфальте, курил, будто бы растерянный или расстроенный. Никто не подходил к нему. И вдруг не то чтобы подошёл, а подскочил с фигурно-клоунскими прыжками знакомый Ковригину голый козлоногий мужик, подскочил, что-то чуть ли не в радости стал говорить, а потом и поднёс ко рту свирель.

Но уплыл в прошлое перрон, увёз в небытие лесоруба по имени Чтобивамхотелось и голого мужика с меховым набедрием, хорошо бы, возмечтал Ковригин, добравшегося наконец до места, ему предназначенного.

Следовало выкурить сигареты три, но тогда пришлось бы одеваться, тащиться в тамбур, а делать это было Ковригину лень. И пришло к нему безразличие. Ко всему. И он натянул на голову одеяло.

По расчётам Ковригина, поезд должен был привезти его в Средний Синежтур засветло. Из купе, решил Ковригин, он постарается не выходить, будет сидеть здесь и читать Костомарова. Или Козлякова (зря не взял в дорогу и Скрынникова). Тут ведь и игра могла возникнуть. В предположения. С футбольным или, скорее, хоккейным счётом (тотализатор бы при этом не мешало завести). Какие события из жизни Марины Мнишек были всё же втиснуты им в якобы драматургическое произведение. И какие эпизоды пожелали использовать умы, таланты и кассиры театра имени Верещагина. Да, конечно, он, Ковригин, был неумеха и

наглец, но теперь полагал, что иные из его безответственных будто бы усердий можно было признать оправданными. Или плодоносными. Почитаемый Ковригиным композитор Шандор Калош, добывавший средства на прожитьё, как и Альфред Гариевич Шнитке, музыкой для кино, говорил ему как-то, почему он предпочитает музыку Возрождения музыке, скажем, виртуоза Вивальди. В ренессансной музыке, по мнению Калоша, – сгустки информации, специфической, естественно, звуко-чувственной (упростим её суть), а музыка того же Вивальди – как бы жидкая, желе из растворенных в ней изумрудов и сапфиров, в ней всё время идут вариации, пусть и блестящие, но лишь нескольких тем. Из композиторов двадцатого столетия Калош высоко ставил Прокофьева. Вот кто не жадничал. Сжимал прекрасные мелодии, особенно в балетных опусах, в краткие фрагменты, но это были сжатые пружины музыкальной и драматической энергии. Вспоминая теперь соображения Калоша, упрощённо запечатлённые памятью, Ковригин думал о том, что и он, пожалуй, тогда, неосознанно правда, старался (позволял себе) создавать энергетические пружины смысловой и психологической информации.

«Эко взлетел! – тут же принялся клевать себя Ковригин. – Какие глубокомыслия! Старался! Мало ли кто и как старается! Но не многим дано. Если бы создал нечто стоящее, пьеса твоя шла бы в театрах. Или по крайней мере ты сам помнил бы толком, что в ней происходило...»

Смутно-то он, конечно, помнил... Но желание игры в предположения пропало...

Намерение своё «ни капли», из купе не выходить и ни с кем не общаться выполнить Ковригин не смог. Голод – не тётка (а тётка, стало быть, – не голод, так, что ли?), и ещё неизвестно, какие можно будет иметь в Среднем Синежтуре калорийно-вкусовые удовлетворения, а потому Ковригин позволил себе прогуляться в вагон-ресторан. Водку, правда, не пил, а пиво заказал, и вместе с ним – сосьвинскую селёдку и лангет «Обоз-88».

– От вокзала до центра далеко? – поинтересовался у официанта.

– Два километра. Чуть побольше. Троллейбусы, трамвай, такси...

– Предпочту пешим ходом, – сказал Ковригин.

– Бог в помощь, – кивнул официант.

– А башня?

– Какая башня?

– Которая падает...

– Далась всем эта башня! – поморщился официант. – Она – за Плотиной. Во владениях Турищева.

Сутки выстукивал колёсами по стыкам стальных прямых палок синежтурский поезд. В толпе прибывших или возвратившихся в город с лангетами «Обоз88» и особенных свойств тава-кебабами на пути к вокзалу и привокзальной площади Ковригин лишь издали увидел спины своих вчерашних сотрапезников – господина по прозвищу (а вдруг и не по прозвищу?) «Мамин-Сибиряк» и двух приветливых сударынь. Рядом с ними носильщик привычным фарватером направлял тележку, не из малых, с чемоданами, баулами, ящиками и мелкими упаковками. Не исключено, что и со шляпными картонками. Челноками и уж тем более мешочниками ни Мамин-Сибиряк, ни его спутницы не выглядели, да и время тех вроде бы прошло. Скорее всего, тележка (кстати, не дитя ли здешнего Обозостроительного завода, не чадо ли его любезное?) была загружена трофеями, добытыми в Москве или в других европейских столицах. Замеченным Ковригин не пожелал быть, шагал он не спеша и потихоньку отставал от вагонно-ресторанных знакомцев. Но уже на привокзальной площади чуть было не наткнулся на них, носильщик под барственно-высокомерным надзором водителя загружал чемоданы и баулы в багажник японского внедорожника с украшениями из никеля (или из чего там?) на бортах и на чёрной блестящей морде. «Такому бугаю на колёсах, – подумал Ковригин, – пригодился бы клаксон с трубными звуками Армстронга». Уже был препровожд-

ден водителем на переднее сиденье Мамин-Сибиряк, а сударыни Вера и Долли не торопились, будто ждали кого-то, будто выглядывали этого кого-то в толпе. «Не меня ли?» – озабочился Ковригин, воротник плаща приподнял и поспешил укрыться за рекламный столб. Глаза его тут же уткнулись в буквы генеральского чина: «Маринкина башня» и в буквы маленькие, с ефрейторскими лычками – «по пьесе А. А. Ковригина».

Не эта ли башня надоела всем, в частности и вагонному официанту, и не она ли превратилась в Падающую?

При этих мыслях Ковригина сударыни, возможно окриком Мамина Сибиряка, были загнаны в автомобиль, и японец весь в никелях укатил.

Отчего он не посчитал нужным подойти к вчерашним попутчикам и хотя бы для приличия перекинуться с ними шутивными фразами, Ковригин и сам толком не знал. Может, из опасений, что ему будет навязано гостеприимство, а он в нём не нуждался. Как не нуждался и в экскурсоводах. Но, скорее всего, дело было в другом. Обманывать он не любил, а прихвастнуть, поважничать или побахвалиться был горазд. И наверняка открыл бы сударыням истинную причину приезда в Средний Синежтур. А те бы... Понятно, женщины... Он же собирался объявиться в театре, в дирекции его, лишь посидев на спектакле. А если бы была увидена им на сцене несусветная и постыдная чушь, он бы тихо и в грусти удалился в Москву. На этот раз непременно самолётом. То есть он теперь в Среднем Синежтуре был инкогнито. Ковригин чуть ли не рассмеялся. Инкогнито из Петербурга. Хлестаков. А он, стало быть, инкогнито из Москвы. Детские игры!

Что-то на площади вызвало его озабоченность. Или даже нервическое напряжение. Неужели?... Не хватало ещё этого! Ковригин минут пятнадцать стоял у рекламного столба в стараниях разглядеть всё и всех на привокзальной площади (разглядел: площадь эта на муниципальных жестянках называлась Площадью Каменной Бабы). Нет, померещилось... Вернее сказать, померещился. Померещился голый козлоногий мужик со свирелью в руке, будто бы только что прошедший мимо Ковригина. «Это уже психоз старого мерина! – высказал себе крайнее неодобрение Ковригин. – Голый мужик добежал до мантуровских лесов и там приживётся. Там ему напекут пирожков. Здесь его не было никогда, и сейчас нет, и никогда не будет!»

Пройдя немного, Ковригин увидел остановку троллейбуса № 1. На боку подошедшей электрической машины был назван маршрут: «Вокзал – Театр имени Верещагина – гостиница „Ваше императорское величество“ – Плотина – Запрудье». «То, что надо», – подумал Ковригин.

Но прежде, чем отправиться в центр Синежтура (до Плотины он решил нынче не прогуливаться, а дойти лишь до гостиниц, получить там номер и стать свободно-независимым жителем чуждого ему пока города), он добрался до Каменной бабы, имевшей постоянное место проживания на привокзальной площади. Все известные Ковригину каменные бабы были связаны со степью, с кочевниками и с языческими взглядами на мироздание. В Присяньи, откуда двинулись в Европу и гунны, и, возможно, скифы, и монголы, и другие многие языки, он наблюдал в Абакане целый сад каменных баб, свезённых из хакасских и минусинских степей. Все эти бабы были коренасты, тяжеловесны, раскосы и состояли из двух шаровидных объемов – головы и туловища. Какие кочевники и зачем притаскивались к здешнему Блюдцу, Ковригину не было ведомо. Но привокзальная Баба, размещенная на гранитном пьедестале с изломами, явно державшем на себе в иные времена другие тела, ноги или даже копыта, к степным бабам отношения не имела. Напомнила она (при первом взгляде Ковригина), хотя бы фигурой и одеянием – условной туникой, Афродите или Венере, а материалом её создателем был выбран мрамор. При обходе же привокзальной красавицы Ковригин чуть ли не воскликнул: «Ба! Да это же Каллипида! Прекраснозада! Афродита из Неаполя!» Мысль о Каллипиде вызвал именно обнажённый мраморный зад. Впрочем, хранящаяся в

музее вблизи Везувия у тиренских вод Каллипига с изяществом приподнимала сложную драпировку, открывая прекрасные ягодные места, да и голову склоняла вправо, оглядывая свои прелести. Синежтурская же Афродита или Венера (кстати, без всяких милосских потерь, то есть с неискалеченными руками) голову держала прямо, её совершенно не волновало, что сзади туника её не достаёт и до талии. Дождь, как в Мантурове, не лил, а моросил мелко, и то с передышками, но небо было уже мрачным, почти что сумеречным, и Ковригин решил продолжить изучение Бабы с её площадью в более светлые часы, да и заглянув прежде в какие-нибудь краеведческие публикации. Удивили его выцарапанные на граните пьедестала слова «Атлантида», «Хаос» и «Журино» (что-то связано было у него с каким-то Журиным), а рядом с ними – гвоздём созданное изображение некоего земноводного страшили с шестью лягушачьими лапами. Удивительным казалось и то, что матерные выражения не были граниту доверены.

От Каменной Бабы Ковригин рассмотрел вокзал. Вот уж вокзал-то был точно тяжело-весен, как степные шары в саду Абаканского музея. Возвели его, видимо, в сороковые или пятидесятые годы в пору провинциально-сталинского ампира. И дома, хороводом вставшие вокруг площади (ещё одно Блюдец), в три-четыре этажа, были громоздкими крепышами. Не исключено, что строили их пленные немцы, привыкшие к собственному имперскому стилю. Мрачноватой показалась и улица имени металлурга Амосова, по которой развозил людей троллейбус № 1.

Ковригин пожалел, что не оставил в камере на сохранение чемодан. Но вспомнил, что ни в одном из открываемых им городов ознакомительные прогулки не облегчал. А во Львове, скажем, ещё с русским языком в разговорах, до центра и гостиниц было километров восемь, там он, правда, не выдержал скуки банального района, сел на трамвай и проехал несколько остановок. Покатая (шла ведь к донышку Блюдца) улица Амосова привела его к желтоватым четырёхэтажным домам, напомнившим Ковригину Соцгорода в Запорожье и Кривом Роге. И ещё в Новокузнецке. «Через четыре года здесь будет город-сад...» Впрочем, пока Ковригин в Синежтуре деревьев не наблюдал. Но, пройдя квартал, наконец увидел их. Жестянка на боку углового дома сообщала: «Бульвар имени Маяковского». Бульвар не бульвар, а – рядка два сосен и между ними валуны. При подъезде к Синежтуру Ковригин увидел именно не плотную щетину северного леса, а как бы сами по себе стоявшие в задумчивости сосны, или компании сосен, росшие вольно, в живописном беспорядке, и не было между ними кустарникового подростка или следов вырубок, лишь там и тут торчали диковинных форм валуны либо скалы светло-кофейной окраски («останцы...» – произнесли у соседнего окна в вагонном коридоре). От ледника, что ли, останцы? Или от гор, разрушенных временем, водой и ветром? Надо было бы выяснить... Пожалуй, и бульвар Маяковского выглядел останцем. Останцем прежних синежтурских окрестностей, стиснутых теперь кирпичными строениями. Асфальтовые тропинки в нём кривились, стояли цветные скамейки, детишки тыкали лопатками в жёлтую крупу песочниц. И не менее, чем валунов, было на бульваре афишных тумб и столбов.

На скамейку под тумбой Ковригин и уселся. «Маринкина башня» и здесь призывала граждан посетить театр имени Верещагина. Взгляд на «собственную» афишу Ковригиным был брошен скользящий и будто бы незаинтересованно-досужий. Подробности, даже и фамилии, а перечислялись роли и актёры, создателей «Маринкиной башни» знать Ковригин не желал. Чтобы не возбудить в себе преждевременных мыслей и уж тем более преждевременных надежд и упований. А вот другие объявления, надо признать, исполненные броско и стильно, притом – с тактом и с иронией, иные – под «ярмарочно-балаганные», иные – под «цирковые» начала двадцатого века, иные – с орнаментами и линиями «модерна», рассматривал с благорасположением. Правда, наткнувшись на слова: «Звезда театра и кино, нар. арт. РФ Наталья Свиридова», глаза от красочного листка моментально отвёл. То ли в испуге.

То ли в неудовольствии. Не хватало ещё столкнуться с Натали в Синежтуре! Ехал, ехал и приехал! Нате вам – и эта здесь! Но сейчас же понял, что и успокаиваться нет нужды. Разволновала его неожиданность географического совпадения. Сама же Натали как была для него вдалеке и заморожена, так и осталась далёкой и ледяной. И Ковригин стал знакомиться с рекламой французского ресторана «Лягушки».

Прямо Тулуз-Лотрек! Мысль об этом вызвало цветное пятно рекламы. Неплохие графики и шрифтовики работают в Синежтуре для тумб-зазывал, опять отметил Ковригин. Откуда здесь они? Текст же рекламы сообщал публике, что в заведении месье Жакоба, уроженца Марселя и Сан-Тропе, изящнейшая кухня южных исторических провинций Франции («причем тогда лягушки? – подумал Ковригин. – Там же хватает омаров, креветок и устриц»). Перечислялись сыры и вина, наилучшие в мире. Были обещаны трюфели, только что отрытые в краснозёмах Гаскони бойцовыми рылами свиней охотничьих пород. Далее следовало: «Ежедневно! Турниры французской борьбы в оливковом масле! Шахматные блиц-партии с шарм-хотессами на раздевание! Новинка – партии калмыцкого шахбокса! Сеансы ясновидящих мадемуазелей от богемных мансард Монмартра! Блуждание с факельной подсветкой (коктейли – в нишах) по лабиринтам Минотавра и выход к Падающей башне! В гиды могут быть приглашены, согласно тарифу (принимается во внимание наполненность кошелька и цифры на карточках „Альфа Банка“), призраки тонкошеей Анны Болейн и жаркой брюнетки Марины Мнишек!»

Ковригин засомневался. Поначалу он решил из любопытства в «Лягушки» сходить. Если оголодает и деваться будет некуда. Но все эти удовольствия в нагрузку к меню – оливковые борцы, раздевания при шахматах и калмыцких шахбксах, ясновидящие мадемуазели и в особенности тарифные призраки Болейн и Марины Мнишек поколебали его доверие к существенному в любом ресторане – к яствам и напиткам. Не начнутся ли у него, Ковригина, сразу же или, в лучшем случае, – к утру колики и рвоты, не придётся ли ему после французских угощений пить английскую соль? А может, месье Жакоб был вовсе и не Жакоб (уж имя больно банально-водевильное), и не француз из Марселя и Сан-Тропе, а отечественный прыщ из шоу-бизнеса, прогоревший продюсер какого-нибудь очередного Бюлана с лапшой во рту и теперь отправившийся со своей шушерой и оливковым маслом на платиновые и малахитовые залежи Синежтура? Не хотелось бы так думать...

Ковригин вернулся вниманием к афише «Маринкиной башни». Выходило, что Маринкин спектакль самый что ни на есть репертуарный. Сегодня идёт. И завтра, и послезавтра его будут давать. «Завтра схожу, – подумал Ковригин. – Сразу же, с дороги, что-то не тянет... И надо привыкнуть к Синежтуру. А в среду – сяду на поезд и – в Москву! Или на самолёт, как карта ляжет». Ковригин словно был напуган Синежтуром, в особенности его лабиринтом и призраками Болейн и Марины Мнишек. Впрочем, прежде чем улепётывать отсюда, следовало выбить и получить командировочные и суточные от скупердя Дувакина. А для этого надо было открыть здесь счёт и сообщить Дувакину его номер.

На этот раз Ковригин запомнил фамилии режиссёра, исполнителей главных ролей и художника, то есть художницы спектакля, и у него возникло странное желание. Хорошо бы, подумал Ковригин, художница эта, естественно, не страхолюдина, оказалась бы и автором понравившихся ему рекламных плакатов. Блажь возникла неожиданная и пустая. А может, и не блажь, а упование. На то, что художница эта, Антонова по фамилии, сверканий меди на сцене не допустит.

После взгляда на Маринкину афишу Ковригин позволил себе поинтересоваться, какие завихрения воздуха занесли в Синежтур несравненную Звезду театра и кино Натали Свиридову в компании с тремя другими не менее несравненными Звездами театра и кино? Антреприза. Гастроли. Понятно. Чёс. Детишкам на молочишко. Три спектакля. По пьесе Стоппарда. Весёлых, наверное, и с детективными поворотами. Сегодня у Натали как раз

последний спектакль, и завтра её в Синежтуре не будет. Ну и прекрасно! Хотя ему-то что, будет она здесь или не будет?

Рядом с фамилией и ликом Натали Свиридовой боком (видимо, так и полагалось) был наклеен плакат с призывом поощрить просветительские усердия московских же ковыристо-находчивых звёзд-ассорбентов популярной кучки «Подмети хлуп». Асорбенты эти («Почему асорбенты? – задумался Ковригин. – И что такое вообще асорбенты?») не только пели и плясали, но и давали уроки практического красноречия работникам скотных дворов. «Немедленный подъём удоев и привесов – гарантируем!» «Подметихлупников» Ковригин наблюдал на экране ТВ, их смысловые банальности (под собственный хохот и чужой, записанный кстати и некстати) были скучнее даже текстов и ужимок «новых русских бабок».

Узнал Ковригин и о других гастролёрах, миссионерах и столпах риторики не только из Москвы или Питера, но и из Новград-Волынского, Риги и даже из маньчжурского города Цицикара. Из всего этого можно было вывести заключение: деньги в Среднем Синежтуре крутятся-вертятся, и немалые, и охочих людей с лопатами грести их является сюда множество. А стало быть, Ковригин при его беспечностях мог остаться сегодня и без крова в гостинице. А потому надо было отложить меланхолическое обозрение чудес и причуд города и поспешить хотя бы в отель «Слоистый малахит».

Думал даже сесть в троллейбус, но не сел. После бульвара Маяковского пошли кварталы, надо понимать, старого Синежтура – деревянные дома с вязью наличников и балконных подзоров, с кружевами чугунных водосточков и играми фигурных флюгеров, широкоплечие крепости состоятельных мужиков, купецкие хоромы из камня в два этажа с белыми колоннами фронтонов, а среди них и особняки, отделанные изразцами и майоликой, «северный модерн». «Э-э-э, да тут есть и впрямь нечто стоящее и живое!» – обрадовался Ковригин. Прошёл он и мимо тетра имени Верещагина, быстро прошёл, не отвлекаясь на изучение подробностей. Сообразил только, что театр напомнил ему здание «Современника» у Чистых прудов, бывший кинолайнер «Колизей», и удивился, что на синем, высотой метров в восемь, полотнище, подёргиваемом порывами ветра, изображена вовсе не Маринкина башня Коломенского кремля, а будто бы колокольня в четыре яруса, как бы пригнувшаяся, нет, нет, не пригнувшаяся, а падающая. Падающая башня!

«Ладно, ладно! Потом! Потом!» – поторопил себя Ковригин. И правильно сделал. Отель «Слоистый малахит», в четыре этажа, но, угадывалось, – с подземными помещениями или гаражами, был схож с гостиницами, какие там и тут всовывают в Москве в переулки, обзывают красиво, скажем, «Ассамблея Никитская», что в Газетном переулке, и каким приписывают лишние сервисные звёзды. Может, и архитектор тут суетился никитско-ассамблейский, и турок сюда завозили для ускорения работ, из тех, что примёрзли к Москве?

Отель оказался забит. А Ковригин был согласен лишь на одиночное проживание. Поначалу к нему отнеслись грубовато-недружелюбно, но после того, как он напредъявлял свои удостоверения (внештатника, но из хорошей кожи и с золотом тиснения) от журналов и ТВ, а главное, проявил свои способности любезных подходов к дамам, к нему потеплели. Одна из суровых хозяек и вовсе оказалась подписчицей журнала «Под руку с Клио». «Может, и сыщется одиночный номер, – сказала она. – Сто долларов сутки». Ковригин напрягся. Ничего себе! Наверняка есть в Синежтуре ночлежки и подешевле. Рекламировали на тумбах отель «Блюдце» с четырьмя кормушками и водопоями в подвалах бывшей Фабрики-кухни. Назывался ещё отель «Ваше императорское величество». Да и на привокзальной площади Ковригин углядел вывеску «У каменной бабы». Впрочем, привокзальная гостиница была с видом на обнаженный Каллипигин зад, и наверняка за этот вид потребовали бы поболее ставя уводящих зелёных. Да и «Величество» могло приписать себе пять звёзд, а то и одну большую, фельдмаршальскую.

Стоял Ковригин, шевелил губами, но это шевеление губ вызвало иное направление мыслей его благотельницы.

– У нас проживает сейчас сама Натали Свиридова, – сказала она. – Вы её знаете?

– Шапочно... – пробормотал Ковригин.

– Завтра она съезжает. Сегодня у них последний спектакль и банкет. У нас в ресторане. А завтра вы можете получить её люкс. Это всего лишь триста долларов. Но виды! На пруд, на Плотины, на Башню!

– Нет! Спасибо, конечно, огромное! – сказал Ковригин. – Но предпочту сегодня же поработать в предложенном вами номере!

В рецепшене же Ковригин в одном из финансовых окошек тут же открыл счёт. Поднялся на третий этаж, номер его оказался скромным, но опрятным. Комната с диваном и письменным столом (уже хорошо), телевизор, холодильник, душ. Распаковал чемодан и позвонил Дувакину. Простеньким-то простеньким был его новый сотовый, но звук его до Москвы долетел и доставил из столицы голос Дувакина.

– Петр Дмитриевич, – сказал Ковригин. – Я здесь, в Синежтуре. Запиши номер моего сотового и номер счёта. И будь добр, тут же переправь мне деньги. Я на ноле. Как и договаривались.

– Ага! Тут же! Главное, тут же, – принялся ворчать Дувакин. – У меня бухгалтерия уже разошлась...

– Завтра утром жду, – сурово сказал Ковригин. – Не жадничай. Жалеть не придётся.

– Я звонил тебе, – сказал Дувакин.

– И что?

– «Абонент не доступен...»

– Я потерял старый телефон, – сказал Ковригин. – Значит, он где-то валяется и ещё не разрядился... Надо же... А по что ты звонил?

– Антонина тобой интересовалась. Вернее, интересовалась – я ли послал тебя в Аягуз.

– И всё?

– И всё. Особой тревоги в её голосе я не почувствовал. Так что не волнуйся!

– А что мне волноваться! – нервно воскликнул Ковригин. – Ладно. До завтра. Завтра – спектакль...

15

Ковригин стоял у окна.

Лил дождь. Небо почернело. Хорошо хоть улица (забыл узнать, как называется) была освещена. Не как в Москве, но всё же... Ещё несколько лет назад по вечерам провинция тонула в черноте. Впрочем, не так давно и Москва по ночам была мёртвой.

Ковригин затосковал по Москве. Но по одной ли Москве?

Из люкса нездешней звезды Натали Свиридовой (что наверняка учитывалось при оплате номера) якобы имелись замечательные виды. Падающая башня, Плотины, синие горы на горизонте. «С видом на Кремль...» Ковригину в это не верилось. Уж слишком приземисто-придавленным выглядел отель. А может, весь Синежтур был таким приземисто-придавленным? Но вот в чём не приходилось сомневаться. Привокзальная гостиница действительно стояла с видом на обнаженный зад Каменной бабы.

«А ведь лицом-то наша Каллипига кого-то напоминала... — неуверенно подумал Ковригин. — Кого-то из знакомых...» Кого, вспомнить не мог. И выходило, что, к стыду и недоумениям Ковригина (хотя чего тут было стыдиться и из-за чего недоумевать?), Каменную бабу он куда внимательнее рассмотрел сзади, нежели спереди. Потому и не мог вспомнить особенности её лица и не мог вспомнить, были ли открыты у неё пупок и лоно. Должно быть, открыты, — принаряжал свою модель ваятель вольно и для своего замысла удобно. Воздушные фантазии стали возникать в голове Ковригина, и всяческие эссеистские соображения дымком потекли вверх.

Очень скоро им пришлось примяться к земле.

На письменном столе были предложены гостю Синежтура справочные брошюры и буклеты. В одном из буклетов имелись цветные фотографии. Первую страницу его украшала привокзальная Каменная баба. История её была истинно земная и к играм ума не располагала. Оказывается, площадь, как только раздалась на ней паровозные гудки, стала именоваться в народе площадью Каменной бабы. Полтора века назад поставили здесь памятник Екатерине Великой (после её весёло-деловитого визита в Казань благотельница земли русской прибыла с инспекцией в здешние глухомани и провела в Среднем Синежтуре два дня). Памятник поставили, на взгляд местных ретроградов, несуразный. Некий купчишка в трактире при вокзале сейчас же съехидничал: «Каменная баба какая-то, а не императрица!» И пошло... Воители монументальной пропаганды с маузерами в руках, естественно, не могли держать голштинскую бабёшку с её фаворитами в числе революционеров. Гранитный пьедестал же наказывать и выковыривать не было практического смысла, на него ещё можно было кого-нибудь усадить или поставить. И это правильно... Стоял на нём и гневно помахивал фуражкой сухопутный и морской главнокомандующий Лев Давидович Троцкий, посиживал на санаторной скамейке приболевший Владимир Ильич, а потом размещался в полуприседе страдалец за народ Михаил Иванович Калинин, в косоворотке и сапогах, и слеза умиления будто бы скатывалась к его бороде (монумент был тут же прозван «сапогами»). А площадь так и слыла в народе — «У Каменной бабы». При очередном порыве масс постановили: «сапоги» убрать, а Бабу вернуть. Но прежняя Екатерина в хозяйственных соображениях давно была раскурочена ломом и пошла на вымостку тротуара у первого общественного туалета. Бабу же вернули, временно поставив на привокзальный пьедестал мраморную копию работы древнегреческого мастера из санатория «Журино», бывшего дворца Турищевых, по женской линии — Шереметевых.

Журино! Вот, стало быть, какая Атлантида! Ковригин взволновался. Замок-Дворец Турищевых-Шереметевых! Во время войны два года там жили московские беженцы, и среди них — его отец с матерью (бабушкой Ковригина). Отец рассказывал о замке своего детства, о

его легендах, о поисках ребятишками сокровищ в его подземельях. Если Журино недалеко от Синежтура (а так можно думать), туда надо бы выбраться. И может, он не зря прихватил с собой в поездку тетрадки отца...

Но к Журину и отцовским тетрадям следует вернуться позже. После спектакля. После спектакля!

Ковригин снова взял со стола буклет. Так. Каллипига, значит, привезена из Журина временной Бабой. И создан художественно-исторический Совет, какой и должен определить, кому и на сколько лет (хотя бы до следующего порыва масс) украшать столь почтенное в Синежтуре место. И не только украшать, но и олицетворять собой красоту, силу, ум и уровень непорочности отечественной женской натуры. Проводились опросы общественного мнения. Сбрендившие люди требовали никого специально не ваять, а составить и осуществлять график вахтенного попеременного стояния на пьедестале живых особей женского пола. Их не смущало даже исторически оправданное отсутствие на Земле некоторых женщин из их списков, таких, как Жанна Д'Арк или жена князя Игоря Ярославна. «Этих держать на пьедестале хотя бы по пять суток в виде живых голографических изображений!» – горячились сбрендившие. «Здравствуйте! У нас же Баба каменная!» – осаживали горячившихся, и те умолкали. Другие, крайние, выступали с предложениями сделать отливки с певицы Славы, политической дамы Хакамады, сноубордистки и столбовой дворянки Собчак (Леди Кси), ведущей Дуни и ведущей Рины. И т. д. И с этих отливок ваять. Но оппоненты крайних посчитали, что до уровня названных претенденток Синежтур интеллектуально и нравственно ещё не созрел. Украсить город хотя бы новым и приемлемым вариантом статуи Екатерины Великой не предлагали. Плохая примета. Да и появились уже Екатерины в её городах – Екатеринбург, Екатеринодаре, в Питере, а Синежтур – был особенный.

Под историей Каменной Бабы в буклете шла информация о Падающей Башне. Сразу же вспомнился вагонно-ресторанный официант и его слова, высказанные вроде бы в раздражении: «Она за Плотиной. Во владении Турищевых». Конечно, конечно. Один из Турищевых, ещё не породнившихся с Шереметевыми, и основывал в Синежтуре заводы. Особо интересных для Ковригина сведений в буклете не было. Одна лишь строчка порадовала: «...построена из подпятаго кирпича». То есть глину для кирпичей Башни, добавляя в раствор яичный белок, разминали ступнями. А напонила Ковригину синежтурская башня (на снимке) определенно-знакомое. Но не Пизанскую башню, нет. А колокольню Николо-Перервинского монастыря, в какой позавчера не допустила Ковригина сретенская «Кружка». Судить же о перервинской колокольне, возвращенной реставраторами из гражданского состояния в состояние духовно-эстетическое, Ковригин мог по ТВ-сюжету и фотографиям в последнем выпуске «Памятников Москвы». Московское барокко. Синежтурская башня была лет на тридцать моложе перервинской, но следовала московской традиции. Совсем рядом с перервинской колокольней в те же годы (при царевне Софье Алексеевне) были поставлены уже упомянутые Патриаршьи кельи, и в них на стене попугай, усевшись на крепкую лозу, поклеивал виноградины. Не залетал ли попугай и в Синежтур? Вспомнилась сейчас же Ковригину и Соликамская башня со схожим массивным основанием верхнего объёма. Но эта башня в его соображениях оказалась сейчас лишней. В гостиничном буклете ни о каком попугае упоминаний не было. Зато сообщалось о завершении Падающей башни, это был не крест, а молниеотвод-флюгер с водяным драконом о шести лапах. Стало быть, на гранитном пьедестале гвоздём выцарапывали героя местных легенд.

«Завтра разберёмся!» – заверил себя Ковригин. В нем возбуждался азарт искателя.

«А ведь придётся сейчас тащиться в „Лягушки“, – подумал Ковригин. – Если, конечно, не обнаружится достойных заведений поблизости».

Ковригин изучил последнюю страничку буклета с планом центральных улиц. Были рекомендованы приветливые кафе, бар и два ресторана при отеле «Блюдец», раньше там

пыхтела, дымила, щи варила Фабрикакухня, устремлённая в высоты общепитательных пристрастий едоков-коммунаров. Все заведения при отеле звались «Блюдцами», но с разными каёмками и каёмочками – с золотой, с голубой, с оранжевой. И даже с клюквенной. Однако в темени и в ливень, да ещё и не зная ночных и вечерних синежтурских нравов и тем более – капканов, разыскивать блюдца с каёмочками Ковригину не захотелось. Хотя он не был трусом и приключения любил. И шикарный, по словам буклета, ресторан «Ваше императорское величество», в народе – «Империял», стало быть, и с шикарными ценами, Ковригина не притянул. «Пусть он останется для меня пока загадочным», – решил Ковригин.

Оставались «Лягушки» и ресторан при гостинице. Кстати, о «Лягушках» в буклете было сказано вскользь и с как бы адресованной бывалому человеку ухмылкой стыдливости – мол, и такие бастарды у нас имеются, а коли вам присуща неразборчивость вкусов, кулинарных в частности, то и зайдите туда. Естественно, гостиничный ресторан был расписан в буклете кистями рублёвско-шоссейного художника Фикуса и приравнен к парижскому «Максиму».

Не хотелось Ковригину мокнуть, но где-то на сценической площадке вот-вот должен был закончиться (а может, уже и закончился) антрепризный спектакль по пьесе Стоппарда, и Звезда театра и кино Натали Свиридова с не менее звездным окружением могла позволить себе расслабиться после трудов праведных и расположиться за накрытым уже столом двумя этажами ниже Ковригина, причём наверняка с пожелавшей посетить праздник искусств знатью и интеллектуальной элитой Синежтура. И Ковригин надел плащ.

Слава Богу, никаких фейс-контролей в Среднем Синежтуре не было. То есть в особо тусовочных или корпоративных ночных клубах и небось там, где пили на халяву, они, наверное, осуществлялись (раз в Лос-Анджелесе или в самом Таллинне, то и у нас, конечно). Но в «Лягушках» именно физиономией и одеждой Ковригина никто не озаботился. Каждый лишний гость был здесь хорош. «Понедельник, – поразмыслил Ковригин. – Оттого и народу не густо...» Но позже выяснилось: пустоты за столиками есть только в переднем, как бы разминочном зале, а в иных, менее просторных помещениях, – заинтересованная теснота, гвалт, запах горячих тел и нервно-игровое оживление.

Метрдотель указал Ковригину на столики с живописными видами, пожелал хорошего аппетита у водоёма с фонтаном и сообщил, что зал этот называется залом Тортиллы, а сама Тортилла сидит в центре фонтана и время от времени выпускает из себя струи воды. Ковригин не сразу смог выделить Тортиллу из прочих фигурок фонтана. Все они были золочёные, как девушки со снопами в Москве на Выставке Достижений. Ко всему прочему Ковригин отыскивал глазами золочёную черепаху. А когда фонтан по расписанию стал гейзером, Ковригин увидел, что струя извергается изо рта кукольной Рины Зелёной. Ни Буратино, ни Дуремар с сачком, ни лягушки в лапах в компанию к Рине Зелёной не были прикомандированы. А тихие струи полились из глоток четырех драконцев с тремя парами перепончатых лап у каждого. Флюгер башенный... И водоём у столика сразу же стал напоминать Ковригину синежтурское блюдце...

Однако к столу Ковригин был призван прежде всего требованиями желудка. В меню он сразу же исследовал цифры и соотнес их с московскими значениями. Они оказались терпимо-сносными. А вот наименования закусок, супов и горячих вторых блюд Ковригина озадачили. Во-первых, никакие лягушки, ни голые, ни в мундирах, ни жареные, ни отварные, ни копчёные, не предлагались. Во-вторых, в состав обещанного исторического юга Франции, видимо, добровольно вошла Бессарабия, или хотя бы Кишинёв с окрестностями, о чём Ковригин в суете жизни уследить не сумел. Францию Ковригин посещал. С кухней тамошней познакомился. Не сказать чтобы полюбил её. Показалась пресной. Но сыры, вина, изделия хлебопеков (где наши французские булки за 65 коп.?!) и кондитеров зауважал... А уж подплыл к столику официант в белой куртке, худой, горбоносый, смуглый. Ковригин попри-

ветствовал его на французском и выразил одобрение внешности гарсона, тот, по мнению Ковригина (фальшивому), якобы имел сходство с президентом Николя Саркази.

– Чего? – удивился официант. – И я не Саркисян! Чуть что, сразу – Саркисян! А я не Саркисян! Вы порусски-то хоть что-нибудь понимаете?

– Понимаю, – вздохнул Ковригин. – Очень много чего понимаю по-русски... Но не всё.

– Так что будем заказывать? – спросил официант.

К уютной куртке официанта была прибулавана пластмассовая бляха – зелёная лягушка в белом круге.

– У вас ресторан называется «Лягушки», – сказал Ковригин.

– Лягушки – в другом отсеке, за французской борьбой, – сказал официант, Ковригин, похоже, стал вызывать у него раздражение.

– Зелёные?

– Зелёные, – кивнул официант. – А какими им ещё-то быть? Но они несъедобные.

– То есть?

– А то и есть, – тут официант усмехнулся, усмешка его вышла высокомерно-снисходительной. – Конечно, если их смазать горчицей и посыпать евриками из Страсбурга, то, может, они и позволят от себя откусить... А так они заняты, играют в шахматы и в шахбокс.

– И давно – в шахбокс?

– С неделю как. Быстро освоили. Способные, хоть и дорогие.

– Их что, из Франции завезли? – поинтересовался Ковригин.

– Естественно, из Франции, откуда же ещё! – воодушевился гарсон. – Если, конечно, посчитать, что Тамбов, Воронеж, Бешенковичи или там Конотоп – это и есть Франция. И никто их не завозил. Сами приплелись на запах и на шелест. Кто как. Кто на перекладных, кто на байдарках, кто прыжками, кто ползком на пузе. Лягушки!

При последних словах (или при последнем слове?) гарсона в водоёме произошло движение. Круглые листья, от лотосов ли, от виктории ли, поначалу показавшиеся Ковригину искусственными, ожили, задергались, между ними мелькнула чья-то пятнистая, коричневая с зелёным спина, а потом явилась Ковригину мордочка незнакомого ему зверька. Оглядев Ковригина, зверёк не спеша вылез на голубоватый бортик водоёма. Размером он был с нутрию, а обликом своим совершенно соответствовал синежтурскому драконцу с шестью лягушачьими лапами. Ковригин ощутил, что гарсон напрягся или даже перепугался.

– Это Костик, – сказал гарсон, успокаивая то ли себя, то ли Ковригина. – Наш смотритель. Тритонолягуш.

– Тритонолягуш? – удивился Ковригин. – Тритоны же маленькие... Сам держал в детстве...

– Тритонолягуш, – кивнул гарсон. И далее говорил шепотом, наклонясь к Ковригину: – Новая порода... Вывелась сама по себе и совершенствуется... Вы на Костика не обращайтесь. Он сидит, размышляет. И наблюдает. Он добродушный, но внимательный...

И последовала история обретения человечеством (хотя бы и одними синежтурцами, и этого достаточно) новой породы животных. Юннат Харченков из семнадцатой школы (да, юннаты не перевелись) увидел в лесной луже искалеченного тритона, принёс домой, попытался спасти. Увы, всяческий интерес к жизни у тритона был потерян. И тогда просвещённый мальчик додумался снабдить страдальца компанией задорных, ещё не угнетённых бытом лягушек. Определить, какого пола искалеченный тритон, юннат не смог, а потому на всякий случай одарил его другом и двумя подругами. И подействовало. Тритон потихоньку ожил, стал столоваться вместе с лягушками, а до того пищи не принимал, принялся играть с ними, и в положенный срок из лягушачьих икринок, не из всех, конечно, а из некоторых, вылупились невиданных форм головастики. Юннат Харченков теперь моцартовский стипен-

диат в Самарском университете и, используя опробованную им методику, вывел там морозоустойчиво-вкусную породу свиновепрей, теперь уже с привычным набором конечностей.

Тритонолягуш Костик, сидевший во время рассказа гарсона в тихой задумчивости, припрыгал к столику Ковригина, посмотрел тому в глаза, чуть ли не утопив Ковригина в своих рыже-зелёных глазищах, произвел некие движения лапами, понятые гарсоном, и нырнул в водоём. Круглые листья (блюдца) покачались и притихли.

– Вы ему понравились! – радостно воскликнул гарсон. – Он не имеет ничего против. Вас допустят и к борьбе, и к шахматам, и даже в лабиринт.

– А если б не понравился?

– Могли бы отсюда и не выйти...

«Ничего себе, – подумал Ковригин. – Не зря, значит, были предложены живописные виды у водоёма. Такой у них фейс-контроль!» Ковригин почувствовал, что аппетит у него пропал.

– Пить что-нибудь будете? – спросил гарсон.

– Знаете, – сказал Ковригин, – всех этих мамалыг мой организм, пожалуй, не выдержит.

– Дозволено предоставить вам другое меню, – в почтении согнул спину гарсон.

В протянутом «другом» меню мамалыг и голубцов в виноградных листьях Ковригин не обнаружил, но ему показалось, что и здесь отношение к Франции имеют лишь слова «пти» и «гранд». Пти-харчо и Гранд-харчо.

– Думаю, думаю. Выбираю, – предупредил вопрос гарсона Ковригин. Сам же спросил: – А если бы вместо добродушного и внимательного Костика у вас под фонтаном проживали бы аллигатор или даже, помечтаем, амазонкская анаконда, и я бы им не понравился?

– Эти бы, – подумав, сказал гарсон, – суток трое дрыхли бы, переваривая вас. Вы длинный... И пропустили бы, куда не надо, всякую шваль. Нет, крокодилов и удавов у нас не держат. Копчёные крокодилы у нас в холодных закусках. Живые они – невыгодные. Серьёзные люди на своих ранчах-заимках заменили охранников – крокодилов на тритонолягушей. Они-то оказались зверскими сторожевыми животными. Причём и смышленными.

– Замечательно, – сказал Ковригин. – У вас небось в меню есть лангет «Обоз-88», тава кебаб по-синежтурски и сосьвинская селёдка.

– Откуда вы...

– Я приехал в Синежтур в фирменном поезде.

– Понятно. Разочарую вас. Обозолангеты – в «Люке» при Башне. Для туристов. Сосьвинская селёдка – в «Империале». А тава-кебабы – «У Марины».

– У какой Марины? – насторожился Ковригин.

– У ясновельможной. А у нас сосьвинские раки. В пиве. Не хуже марсельских лобстеров. Сосьва – речка чистая. У нас там заготовители.

Аппетит сейчас же вернулся к Ковригину.

– А что вы сами пожелали бы предложить мне? – спросил Ковригин.

– У нас запрещено делать это, – сказал гарсон. – Но... Вам Костик не просто дозволил. Вы ему понравились. Это редкость. Вы называйте блюда. Я могу кивнуть. Вы меня поняли?

– Так. Закуски. Пиявки по-дуремарски. Фаршированные пармезаном и копчёные. Дуремар и пармезан вроде бы не были французами. Отставим, – сказал Ковригин. – Раки в пиве. Две гранд-порции. И миноги.

Гарсон кивнул.

– Первое... – выбирал Ковригин. – Никаких суповпюре... Ага!.. Уха стерляжья с каперсами по-монастырски... Подойдёт... Так. У вас, оказывается, завелись отбивные из свиновепрятины?

Гарсон с явной тревогой взглянул в сторону фонтана. – Действительно, – сказал Ковригин. – Эта свиновепрятина кажется мне подозрительной. В Самаре, конечно, много чего

изобрели. И по делу. Скажем, первыми создали Партию Дураков. И для них, вполне возможно, хорош метод юнната Харченкова. Но вряд ли он будет уместен для украшения меню вашего ресторана. Так что, откажемся от предложенного блюда.

Гарсон закивал с воодушевлением. И будто бы опасность с когтями россомахи только что отпрыгнула от него в густоту елового лапника.

– А потому заказываем, – подытожил Ковригин, – пти-коко, то есть табака по-гальски в чесночном соусе Ришелье. На десерт – вишнёвый пирог «Лютеция». Напитки сами выберете.

– Откусываете и пройдёте к оливковому маслу и к шахматисткам на раздевание, а может, потом – и в лабиринт? – поинтересовался гарсон. – Или экскурсию совершите сразу?

– Сегодня командует мой желудок, – сказал Ковригин. – Сытый и довольный он пожелает полениться и поурчать, а на деятельную экскурсию вряд ли окажется способен.

– Разумное соображение, – согласился гарсон.

Никаких разумных соображений Ковригин не высказывал. Просто болтал. Молол чепуху. Гарсон ему надоел. Но обслуживал тот старательно и насыщению Ковригина не мешал. Неодобрительных движений в фонтанных водах не наблюдалось. Можно было предположить, что тритонолягуш Костик спокоен, недостойных натур на подходе к его околотку нет. Или – все возможные шалуны и игроки, синежтурские и региональных значений, были Костином уже исследованы, взвешены, допущены и рассеяны в отсеки по интересам. Чрезвычайных же едоков и любителей сладких мгновений более не ожидалось.

– Замечательно! – произнёс, наконец, Ковригин. Искренне произнёс. Чрево его уже было расположено именно к урчанию и покою в гостиничном номере.

Но и сыч, набивший себя деликатесами от лесных и полевых грызунов и придремавший на дубе, при шелесте в траве глазища вытаращит и пожелает узнать, что там в траве-то? Вот и Ковригин понял, что не уйдёт из заведения с Костином под фонтаном, пока не увидит, какие такие лягушки играют на раздевание в шахматном отсеке. О чём и объявил гарсону. Тот кивнул, за указаниями к Костику не обратился – видимо, имел полномочия.

Отсеки, в какие Ковригин направился любопытной Варварой, полагая себя при этом ВИП-персоной, признанным ботаником с сачком, купленным в Кейптауне, лицом, одобренным бдящими Силами, отсеки эти его разочаровали. Ну, борцы, здоровенные дяденьки, ну, деревянные чаны с теплым оливковым маслом, куда дяденьки ради выявления рельефов мышц окунались перед каждой схваткой, Афродиты-Тарзаны в кипрской пене-шампуню, ну, деликатные правила и приёмы греко-римской, классической – иначе, естественно, французской борьбы. То есть цирковое ретро. Возвращение к Иванам Поддубным начала двадцатого века. И никаких драк без правил, никакой крови и хруста шейных позвонков. Ну, понятно, и в жанре ретро ухо оторвать возможности имелись. А так – скука. Суть аттракциона была, видимо, в другом. Наверное – в особо заманчивых условиях тотализатора. А может, и в чём-то ином, Ковригину не открытом, но приглашающем его в секреты подпольных действий и игр. Не исключено, что именно в связи с его заходом в борцовский отсек было тотчас же объявлено: «Внимание! Внимание! Этого все сегодня ждали! Начинается серия схваток с острожелающими любителями из числа гостей ресторана!» Тут же в пляски и подёргивания огней цветомузыки (тема тореодора в смесителе с темой Мефистофеля, Бизе, Гуно, французская борьба-жизнь-лямур-тужур, люди гибнут за металл и, тем более, за любовь) вступил мужчина в банном халате и шагнул к чану с оливковым маслом. «Мистер Поголовкин, Чёрный Цилиндр движущегося состава! – было объявлено. – Поприветствуем его!». Чёрный Цилиндр сам поприветствовал публику, вскинув руки «викторией», а к Ковригину обратился персонально со словами: «Чтоб и вам хотелось!», сбросил халат, подпрыгнул и опустил себя в лохань с оливковым маслом. Голова его вскоре возвысилась над подогретой жидкостью, и последовало обращение уже не к одному лишь Ковригину, а ко всем:

– Чтоб и вам хотелось!

Впечатления первого взгляда Ковригина улетучились. Это был не крепыш Мамин-Сибиряк, а не менее крепкий удалец, угощавший Ковригина в вагоне-ресторане сосьвинской сельдью.

Публика тем временем ревела, отбивала ладоши и свистела с хрипотцой. Чёрный Цилиндр явно имел в атлетических кругах синежтурцев поклонников и букмекеров.

А Ковригин понял, что ему не хочется.

И винтовым ходом в стене (подказали) перешёл в отсек (подводники, что ли, заправляли рестораном?) с шахматными партиями и раздеваниями. Там-то он и увидел, наконец, обещанных лягушек.

Понятно, что это были никакие не лягушки, а бабы. Если, конечно, принять во внимание специфику заведения или его профиль – мадамы и мадемуазели, по курсу же синежтурских условных единиц-восприятий – бабы, бабищи, барышни, девицы и прочие бывшие поселанки с бывших же единоутробных просторов Отечества, где прежде в каждой семье имелось по пять шахматных досок. В отсеке богини Каиссы было куда теснее, нежели при оливковых чанах, тут и ароматы курились поприятнее, и интеллект поражал глубиной, и, естественно, вид обмасленных мужиков (не для всех, конечно) уступал виду особей женского пола разнообразных форм, жанров и назначений. Другое дело, что художник по костюмам попался хозяевам с избирательными представлениями о дамской красоте. А может, покорно следовал чьему-то творческому диктату.

Или, что хуже, капризу.

То есть все шахматистки – и турнирные, при часах с падающими флажками на столиках, и подтанцовывающие, и выделяющие номера у гимнастических палок, были обряжены им в костюмы земноводных беспозвоночных. И не в костюмы даже, а в будто бы зелёную кожу лягушачьего сословия французских сортов. Опять же Ковригину вспомнились цирковые персонажи. Ну, пожалуй, и балетные. Здешние одеяния были все – в блёстках и в пупырышках. У наиболее пышных шахматисток выявлялись завлекательные складки кожи. Или шкуры. Сразу же на ум пришла Лоренца Козимовна Шинэль, курьер журнала «Под руку с Клио», и её промежуточный, перед залеганием под одеяло, костюм, как показалось тогда Ковригину, космических предназначений... Кстати, не выбросилась ли Лоренца Козимовна с парашютом из пылающего дирижабеля в Пятый Океан и не отнесло ли её злыми североатлантическими ветрами в окрестности Синежтура? Нет, Лоренца не играла здесь в шахматы, не танцевала и не вертелась вокруг эротической палки. И без неё задорных экземпляров хватало. А и при едином крое зелёной кожи, стал приглядываться Ковригин, костюмы их имели свои «загогулины», все, видимо, – в соответствии с ударными свойствами предлагаемых натур (у кого-то были особенные вырезы на спине и на груди, на животе и уж на совсем доверительных местах, кто-то щеголял с обрезанными до ягодич и выше подоломи, кто-то – в лосинах, а кому-то разрешили иметь лишь прорези для глаз). И, естественно, учитывались свойства их тел (горячих, подумал было Ковригин, но сразу же вспомнил о температурах земноводных). Но и хладнокровные они могли быть замечательны в употреблении. Бабы есть бабы. Как жаркие, так и охлажденные. Как французские, так и синежтурские. Или приползшие, прискакавшие сюда на запах и на шелест (слова гарсона) со всех боков глобуса.

Одно лишь соображение удерживало теперь Ковригина в отсеке земноводных. А где же эти милашки, впрочем и как, игравшие с ними шахматисты и шахбоксеры, раздеваются, и на какой срок, и на какую сумму? Тут зашумели, ладоши отбивая, знатоки синежтурских забав, и Ковригин увидел, как пара – она, в зелёном с блёстками и бородавками на правом плече, и господин в чалме – от шахматной доски направились к проему в стене отсека. Над проемом зажглось: «Болото № 18». Позже зажигалось и над другими проёмами – «Болото» (и номера «болот»), «Топь», «Трясина», «Засохший пруд», «Клюквенное озеро», «Таёжная

лужа» и славненько так – «Мой лягушатник». Зелёная из восемнадцатого болота возвратилась, не было в ней усталости и следов страсти, одеяние её не помялось и не поползло по швам. Ковригин даже расстроился. Отчего же так быстро-то? А оттого быстро, что заведение здесь исконно и педантично стильное. Раз французская борьба без всяких уступок веяниям коммерческого бесчеловечья в спорте, то, стало быть, и любовь французская. А какие в ней могут быть задержки? Но сейчас же Ковригин и задумался. Милашка-то вернулась из болота одна. А где же господин в чалме? Конечно, после ублажения его выигрышем он мог быть выведен чёрным ходом, дабы не соблазниться участием в новых клеточных баталиях и не ограничить права и возможности других желающих. Это было бы даже разумно. Но вдруг господина в чалме (надеемся, что хотя бы после сеанса упоительной французской любви) от болота № 18 адресовали напрямик в трясины, чтобы не наглел и не обжирался, а уподобился искателям одноразовых тел Клеопатры и роскошноносой хозяйки Дарьяльского ущелья?

Жутковато стало Ковригину.

И что это ещё за «Заросший пруд»? Не наш ли ужасный Зыкей надзирает над ним? Стоило ли в таком случае ехать Ковригину в Средний Синежтур?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.